

"Люди, годы, жизнь" Книга 5

- [И. Эренбург](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [Занят Деж,](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
-

И. Эренбург

"Люди, годы, жизнь", книга V

Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Берггольц, Бека, Бакланова (этот список, конечно, далеко не полный). Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу: нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими.

Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники.

Мне неохота повторять и себя, но боюсь - это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связано с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома, их окрестили «полковник» и «подполковник», на них часто глядела одна из героинь романа Рая, я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами, я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рос и, как доктор Крылов, в Щиграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами.

Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города метались, скрипели, рушились, как деревья. Все было внове и непонятно - призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурства на крышах, зловещие слухи, слово «окружение», страшное, как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке - даты и города: 27 июня - Минск, 1 июля - Рига, 10 июля - Остров, 14 июля - Псков, 17 июля - Витебск, 20 июля - Смоленск, 14 августа - Кривой Рог, 20 августа - Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа - Днепропетровск, 1 сентября - Гатчина, Каховка, 13 сентября - Чернигов, Ромны, 20 сентября - Киев... (Я записывал то, что узнавал в «Красной звезде»;

сводки по большей части говорили о «направлении».) За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страницы истории, а тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную сводку. Радиоприемники вскоре отобрали, остались «тарелки», и дважды в день «тарелка» с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию и что мы отходим, все отходим и отходим.

«Какие новости?» - спрашивал я в редакции Карпова. Он отвечал: «Направление Вяземское, но Вязьму уже оставили». Понять что-либо было невозможно, оставалось верить, и вместе с другими я верил - наперекор сводкам, беженцам и женщинам с узлами, заполнившим московские улицы.

Я встречал много людей и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию «Красной звезды», бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен, но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали: «В чем дело?...» Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории, и вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова: «превосходящие силы противника» - они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного: почему же у немцев больше самолетов и танков?

Третьего июля рано утром мы слушали речь Сталина; он, видимо, волновался - слышно было, как он пил воду, да и начал он непривычно, назвал нас «братьями и сестрами», «друзьями». Сталин объяснял военные неудачи внезапностью нападения, говорил о «вероломстве» Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На Пушкинской площади в витрине «Известий» висела

большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам.

Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги! Но нам было не до исторических оценок - фашисты рвались к Москве!

По переулкам Замоскворечья шагали ополченцы, шагали нестройно - с одышкой, с гирями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной выправке.

Как другие, я переживал тревогу и, как другие, событиями был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. О «Красной звезде» я расскажу дальше, сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить - иного выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было.

Начали приходиться телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост», «Ля Франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь - для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио - и для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов.

Лозовский сказал мне, что Сталин придаст большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги главным образом для Америки - славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили С. М. Михоэлс, С. М. Эйзенштейн, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, архитектор Б. М. Иофан, а также П. Л. Капица и другие. (Некоторых из выступавших или подписавших обращение восемь лет спустя арестовали только потому, что они входили в Еврейский антифашистский комитет.)

В тот самый день ко мне пришел мой давний друг, польский поэт Броневский - его незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении, многим

возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов, он усмехался: «Я это понял раньше тебя...» Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме, он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, то его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму - не потому, что там лучше, а потому, что он поляк...

Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу: вот настоящий интернационалист!... Что-то а мире изменилось, я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях XIX века, ненавидели национальную ограниченность, верили, что границы доживают свой век. В годы первой мировой войны все происходившее меня ошеломляло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании я понимал горе народа, но там была гражданская война; подвиг интербригадовцев как бы продолжал Коммуну, Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важное и цепкое - земля. Я сидел на московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами, она говорила: «Петенька, не шали, пожалей меня!...» Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идея идеями, но есть и это...

В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми - противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были внове. У людей разные характеры, и они по-разному себя вели: одни были спокойны, другие с непривычки пугались, некоторые тащили в убежище мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставляли меня в «Красной звезде». В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать (шутя мы называли этот погреб «презрением к смерти»). Когда я выхолил рано утром и шел по улице Горького, я радовался: все дома на месте! Архитектура этих домов мне никогда не нравилась, но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, вышедших живыми из боя.

Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский наш дом был оцеплен. Работали пожарники. Я испугался: что с Любой, Ириной? Вскоре я нашел их в

переулке,- оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус, и всех удалили из дома.

Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя; я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной; помню его крик. Бомба разорвалась близко - на Якиманке.

Однажды я был на пресс-конференции: С. А. Лозовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены, и я оказался в убежище с американским писателем Колдуэллом и его женой. Мы разговорились; несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Е. П. Петровым. Мы шли по Никольской, видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке рыжели отсветы пожаров.

Еще в первые дни войны Лозовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом. Лозовский многое понимал, но у него были ограниченные возможности: решал А. С. Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. (Это было 3 сентября.) Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил: «Зажирели до войны...» Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что и должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Совинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился: «А вы не оригинальничайте...»

В другое время такой разговор меня обескуражил бы, но я продолжал работать: мне было не до сомнений. Наверно, такие минуты переживали тогда многие - одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не прерывал своей работы, борьбы; жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди, его пережившие, вспоминают о нем с гордостью.

Писатели долго (разумеется, не по своей воле) обходили первые месяцы войны молчанием, начинал повествование с

контрнаступления в декабре 1941 года. А между тем все было решено именно в первые месяцы, тогда народ показал свою душевную силу.

Конечно, были растерянность и паника; много раз я слышал жесткое слово «доигрались»... Я был в деревне Афонино на Брянском фронте - ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо: у немцев порядок, приехали на машинах, аккуратно одеты, даже солдаты получают шоколад. Кто-то из солдат выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали.

В октябре хлеб стоял неубранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали: «Нечего панику разводить», - а несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким, с «винтиками» и «колесиками»; в мирное время он, плохо ли, хорошо ли, работал, а осенью 1941 года требовалось другое: инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение.

Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентах». Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу битую и недобитую интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте, работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях: с первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский, Кирсанов, Сурков, Лидии, Габрилович, многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горя не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, окостенение аппарата, а главное, страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и всем «интеллигентам».

Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941 года, - имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов прогнал дым каминов. (Значит, и Сталин понял, что ему

нужно потесниться.) Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого, жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция.

Иностранцы ломали себе голову: хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделялись по шпаргалке: «русским мистицизмом», «долготерпением», «фатализмом Востока». После контрнаступления под Москвой один американский журналист говорил мне: «Никакой загадки тут нет - вас спасли размеры территории». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предместий Мадрида и неожиданно для себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре.

Помню беседу с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. (О всех трудностях Колдуэллу я тогда не мог сказать - мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали: когда смерть рядом, одной дисциплины мало - нужно самопожертвование.)

С точки зрения военного историка первые месяцы выглядят достаточно мрачно; небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагов огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны; было много беспорядка, хромала связь; немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери.

Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением - необстрелянными юнцами, говорил хорошо, по-человечески, признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки; рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом.

Там же я встретил одного из «испанцев» - танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся: «Помнишь?... Та же картина... Только здесь, думаю, выстоим...» Мы сидели в избе. Изможденная крестьянка цыкала на ребенка: «Тише - генерал думает...»

По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали, и снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя, очень много, но, как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего не хочу идеализировать, это суцая правда: люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на костюм, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей.

На Волге я видел пожилого машиниста; он вел состав семьдесят два часа подряд, рассказывал, что, когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению: «А как же?... Теперь иначе нельзя...» Ко мне в «Красную звезду» пришла старая еврейка из Винницы, рассказала, как ей удалось уйти, она прошла сто километров пешком; потом ее взяли на грузовик, и вот она несла чужого ребенка - родителей немцы убили. Из Орла вывозили музей Тургенева, и директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились: «Да кому нужна этакая рухлядь?» - в вагоне стоял старый, продырявленный диван; директор в сотый раз объяснял, что это диван-«самосон», так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались: «Вези...» Все это я рассказываю несвязно. Я написал «Бурю», там был план, сюжет; а сейчас, когда я вспоминаю те месяцы, слезы подступают к горлу: уж очень тяжело было людям, право, они этого не заслужили.

Немцы быстро продвигались к Москве. Одна маленькая девочка сказала матери: «Мамочка, да роди ты меня обратно!...»

«Красную звезду» перевели в подвал Театра Красной Армии, сказали, что там спокойнее - под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы; а ночи были темными; я упал, расшибся, статью в номер все же написал.

Что скрывать настроение было отвратительное. Но людям необходимо посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в

карте поенных операций. Он ходил громко, как еж,- топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то - не просто, а военный - сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Богатырев решил, что Гудерьян - армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного...»

К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Е. П. Петров: приказ Щербакова эвакуировать Информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. В суматохе первых месяцев меня забыли ввести в штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорил, что я должен работать для заграницы, важнее всего, чтобы я посылал статьи через Информбюро. Щербаков был секретарем ЦК, и спорить с ним не приходилось.

На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума - повсюду чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью последней части «Падения Парижа». Потом я огорчился, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе, горевал, что пропала бритва,- как я буду бриться?... Повезли нас в пригородном вагоне; было очень тесно - трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне - работники Коминтерна (среди них Долорес, Раймонда Гюйо). На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить, но даже у него ничего не выходило. Афиногенов вслух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку; враг прорвал линию обороны и приближается к Москве.

В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна», потом несколько дней прожили в общежитии «Гранд-отеля», оттуда нас выселили: англичане потребовали места для горничных посольства.

Меня приютил на ночь Я. З. Суриц. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться, говорил, что Сталина

предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался.

Я писал статьи в коридоре здания, где разместились Наркоминдел и Совинформбюро,- машинку ставил на ящик.

Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие с фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан у продолжал стучать.

Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт, почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы Москвой?... Они жили в «Гранд-отеле», много пили, порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию, утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Пирл-Харбор, американцы в «Гранд-отеле» подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву, там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Дженни.

Уманский описывал Америку, и от его рассказов становилось неуютно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне: «Боюсь, будет плохо...» - почему, он не объяснил: все-таки он был куда больше дипломатом, чем Суриц: умел вовремя замолкать.

В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой okazji выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора... Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среда поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым; некоторые не могли удержаться - признавались, что нас ненавидят. Я понимал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь.

В Саратове играл МХАТ. Ставили «Три сестры». Вершинин на сцене говорил: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет

невообразимо прекрасной, изумительной...» Все слушали и вздыхали.

Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву. Лозовский отвечал: «Через неделю все прояснится. Пока что нужно работать...»

Я сидел и писал по пяти статей в день.

Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (он же Вадимов) сразу решил меня прикрепить к своей газете; говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить: вот этого я не умею. Он ответил: «На войне нужно все уметь». Два часа спустя я принес ему статью; он начал читать и рассмеялся, а смеялся он очень редко, да и не было в статье ничего веселого. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал...» Оказалось, что передовые нужно писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя: «Пойдет на третьей полосе...»

Может быть, фронтовикам нравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому, что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде.

Вот несколько фраз из моих статей того времени. «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль - выстоять». «Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще пубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней. Мы не ревели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа...» «Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности... Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой...» «Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем...» «Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет...»

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничаний. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек - не роман, а жизнь... Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа...»

В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент - труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из флангов, моют, скребут... Начались занятия в школах... Во всех переулках баррикады... Очередь у кассы цирка...» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся...

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиним, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937-1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что

люди, кажется, в одни присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были

и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми мелкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с

Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку - он похож на послужной список любителя походов. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.

Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов. Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.

При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.

Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многие из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам - Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю - было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам - старшим, они только-только распрощались с молодостью.

Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен - эти не будут отсиживаться в штабах,

я их видел у Халхин-Гола...» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение.

Однажды - это было в начале 1938 года - я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил: «Я пишу о пустыне Гоби... Когда я писал «Тихоокеанский дневник», «Подвиг», я выбирал темы - писал, как жил. Теперь иначе... Мне очень хотелось бы написать про другую пустыню, но это невозможно... А нужно работать - иначе еще труднее...»

Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым: он страдал от перерождения человеческих взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным; больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых (тщетное) спастись любой ценой.

Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин, человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.

Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в Переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте, про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность - ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал: «Знаете, все-таки теперь легче - все как-то стало на место...» Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй...»

Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.

Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева а Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал - у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» - сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер...» Это последние его слова, которые до меня дошли. Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы: приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте.

Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал звучание слов, ие дописанные строфы - он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств «очкастенький», как говорили чукчи, снисходительный ко всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта X века Рудаки, переведенные очень давно Лапиным: «...И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был...»

Девятого мая 1945 гола был праздник; пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня, та, что никогда не зазеленеет,- память о близких...

Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом город, а я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, что, кроме Германии Гитлера, существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно к этому прислушивались немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться.

Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах: рабочий класс Германии силен, это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. «Конечно,- говорили красноармейцы,- офицеры - фашисты, наверное, и среди солдат попадают люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел». Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немецкой армии.

На второй день войны меня вызвали в ПУР и попросили написать листовку для немецких солдат, говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на листовки и громкоговорители.

Листовок было много, казалось бы убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед.

Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки.

Редкие пленные (главным образом танкисты), которых я видел в первые месяцы войны, держались самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера: «Я гарантирую всем нашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для военнопленных. А к рождеству война кончится, и вы вернетесь домой». Среди этих военнопленных были рабочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые услышал от перепуганных пленных «Гитлер канут», но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, они снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно - боялись и русских и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков.

В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В двадцатые и тридцатые годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа - густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличность передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешках пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. «Культура!» - восхищенно и в то же время печально говорили мне красноармейцы, пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер.

Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя, назвал их трусами. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид

смышленный паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода...»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее пугали благодушие, наивность, растерянность.

Я помнил «странную войну» - торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей... Война - страшное, ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные, грязные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»

В статье, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время - летом 1942 года, я говорил: «Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить... Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца. Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают и носят на спине детишек, убивают русских детей с таким же педантизмом, как и злые. Они убивают потому, что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови... Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку, к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим

каждого гитлеровца за то, что он - представитель человеконенавистнического начала, за то, что он - убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за (вытопанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят, как люди. Наша ненависть еще сильнее оттого, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под культурных европейцев... Не о мести мечтают наши люди. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они снизошли до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гёте в Веймаре или библиотеку Марбурга. Мечь - это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами. Мы тоскуем о справедливости. Мы хотим уничтожить всех гитлеровцев, чтобы на земле возродилось человеческое начало. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты: я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера,- мысли и слова неуместны, да и не искренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев...»

Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат: мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально.

На войне человеку хочется порой улыбнуться, и я не только обличал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище «фриц». Вот названия некоторых коротких статей (я писал каждый день): «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц в Шмоленгсе», «Фриц-мистик», «Фриц-литератор» и так далее - десятки, сотни.

Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрнаступлении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, дети. Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговорился, скачал, что ничего не

может понять - он считал, что города бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа... В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы... Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое.

Война, начатая фашистской Германией, не походила на прежние войны: она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работающих обывателей в «факельщиков», сжигающих деревни, устраивающих охоту на стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры - война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовые зверства не только эсэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодеятельных палачей, а всю свою армию, связал десятки миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого, на вид добродушного немца; до войны он работал мастером в Дюссельдорфе, у него там была семья; он бросил русского младенца в колодец, потому что страдал бессонницей, принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом «чисто еврейское мыло» - его изготавливали из трупов расстрелянных. Да что вспоминать - это описано в тысячах книг.

Русский человек добродушен, его нужно очень обидеть, чтобы он рассвирепел; в гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на «виллисе» к переднему краю - меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом; незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у моим табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздобыв в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. «Где же твой табак?..» Он молчал. Наконец ему пришлось признаться: «Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клянуть... Одно из двух - или пускай их всех убивают, а если нельзя, так курить-то человеку нужно...» Это

было в 1943 году, а год спустя возле Минска в Тростянец, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить - его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная, и вытер носовым платком края. Меня это разозлило: когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя, успели отойти, и полчаса спустя один принес пленному миску супа: «Жри, сволочь!»

(Да и я так вел себя: много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они «хорошие немцы», и подписывался - словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же.)

Геббельсу нужно было пугало, и он распространил легенду о еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ.

У меня сохранились вырезки из немецких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и продал их и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что я каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его «Трест Д. Е.», что я хочу превратить в пустыни земли, лежащие между Одером и Рейном, что я призываю насилловать немок и убивать немецких детей.

В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен».

Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартеиштейне, накануне занятом нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немецкий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача: наконец он сказал:

«Хорошо, но вот Илья Эренбург...» Мне надоело с ним разговаривать, и я ответил: «Не бойтесь, Ильи Эренбурга здесь нет - он в Москве». Врач несколько успокоился.

Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов - Гейне, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью, немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В утопическом романе «Трест Д. Е.», на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами. Конечно, во многом я ошибся: когда я писал эту книгу, в Руре стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими: Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами, а Брандево оказался Гитлером.

Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой «Норд», желая приподнять своих солдат, обескураженных отступлением, писал в приказе: «Илья Эренбург призывает азиатские народы «пить кровь» немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насильствовали немецких женщин: «Берите белокурых женщин - это наша добыча!» Илья Эренбург будит низменные инстинкты степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде»: «Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора, только немец способен сочинить подобные пакости. Мы идем в Германию за другим: за Германией».

Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах третьего рейха, и Нюрнбергский процесс, и многое другое.

В 1960 году муниципалитет Вены пригласил меня участвовать во встрече представителей искусства и литературы. Вскоре после этого я получил письмо от организатора встречи, австрийского социал-демократа, в котором он спрашивал меня, правда ли, что я в годы войны призывал насилловать немцев. Западно-германский журнал «Шпигель» разъяснил, что «документы» о моем страшном прошлом были представлены венцам посольством Германской Федеративной Республики. А недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающий в Мюнхене, передал мне забавные фотодокументы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал: «В течение трех лет Илья Эренбург свободно, открыто, полный ненависти, говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд - не кто иной, как Гейнц Богарц, который в 1941 году выпустил книгу, восхвалявшую Гитлера, и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру.

В 1962 году мюнхенская газета «Зольдатен центунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги. Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насилловать немцев; грозила издателю, называла меня «величайшим в мировой истории преступником». Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок. Другие, однако, возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса; и все же до сих пор реваншисты продолжают повторять: «Мемуары убийцы и насильника».

Повторяю - дело не во мне. Но среди пятидесяти миллионов жертв второй мировой войны нет одной - фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил.

В годы войны я повторял изо дня в день: мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови - все это может остаться бенгальским огнем победы, эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая, нечистая политика.

Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых

демократов заступиться за фашизм, пишет ц «Ля марсейез»: «До войны значительная часть общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю - не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов... Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеи...» К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу «про запас», только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии... Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на развод, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови... Фашизм - страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных».

Я смотрю на старые газетные листы, и мне становится не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на развод фашистов. Оставили про запас кадры рейхсвера. Хотят дать германской армии ядерное оружие; поддерживают лихорадку реванша; продолжается то, что покойный Бернанос назвал «спекулянтской затеей», только на зеленом сукне уже не классические «бочки с порохом», не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться!

Я забежал на двадцать лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои; ехали мимо сожженных деревень. Кругом лежали; а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа, солнце казалось розоватым замерзшим сгустком, снег синел. На морозе лица мертвых румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал: «Видите, сколько набили! Эти в Москву не придут...» И - не скрою - я тоже радовался.

Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство - оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемнение века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь». Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь...

Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб «Покровское»; а села не было - его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь деревню, спасут людей. Ведь в Белоусове не только все избы уцелели, а немцы побросали, убегая, свои вещи, в Балабанове, застигнутые ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальсонах.

Усталые красноармейцы ожесточенно врзались заступами в промерзшую насквозь землю: вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площадях Малоярославца.

Немцы заботливо хоронили своих (пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал). Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами, с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось - шла война даже с мертвыми.

Колхозники тоже были разъярены. А один старик мне сказал: «Я думал, что немец распустит колхоз, а он, паразит, корову у меня забрал, всю посуду опоганил - ноги мыл, мать его!... Вчера четверо пришли: просятся в избу - замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть...»

Стояли на редкость сильные морозы, а красноармейцы-сибиряки ругались: «Вот бы мороз настоящий, они бы мигом окочурились...» Один украинец рассказывал: «Как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло...»

Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались: «Вот уже не думали, что наши вернутся...» Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали: «До весны управимся...»

Генерал Голубев, усмехаясь, говорил: «Я две академии кончил. А эта - третья, посерьезнее». Он рассказывал, что побывал в окружении

и вышел - в генеральской форме, но в лаптях. Говорили, что его армии сильно помогли рабочие Подольска: завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготавливать боеприпасы для минометов.

Все было для меня внове: песни, перцовка, обжигавшая нёбо, какая-то Машенька - не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались языки: ругали бюрократов; один офицер сердито говорил: «У нас прокурор чем хвастал? Количеством приговоров - перевыполнял норму»; другой задумчиво сказал: «Хороших людей губили...» И, однако, все понимали, что защищают не только свою хату, но и Советское государство, милое им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов, а сущая правда. Народ голосовал - без агитаторов и не бюллетенями кровью.

Во мне мешались два чувства: первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять: ведь немцы еще недавно заверяли, что рождество они встретят в Москве, и вот их гонят на запад!... Да и вид пленных приободрял: замерзшие, с головами, замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие, они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом.

Взяли Медынь, начали говорить о Вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я (пророка из меня не вышло)... В день зимнего солнцеворота я писал: «Солнце - на лето, зима - на мороз, война - на победу...»

Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится. 18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными - новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Л. Л. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в Петроградском политехническом институте кораблестроения; шла первая мировая война, и в 1917 году молоденького прапорщика

отправили на фронт. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца - сдержанность, хорошо скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную роль сыграла артиллерия: в его 5-й армии он не мог рассчитывать на пехоту - потери были большими, а пополнение задерживалось; развил целую теорию: при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать во всех фазах битвы. Он не только говорил с увлечением, но и меня увлек. Хотя военное дело - скорее искусство, чем точная наука, оно зависит от техники, и самые передовые концепции быстро устаревают. (Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники,- кинематограф; скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, а немые фильмы смотришь с усмешкой.) Леонид Александрович, конечно, не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь, только чтоб передать облик человека; в холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а, скорее, математика или инженера, хорошего русского интеллигента. (Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте, в Москве, в Ленинграде; помню вечер в мае 1945 года - мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, об игле Адмиралтейства.) При всей своей сдержанности, даже склонности к скепсису, Говоров, как и другие, был приподнят удачами, говорил: «Пожалуй, через недельку Можайск возьмем...» А Можайск взяли несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся: «Победителей не судят...»

Снова я увидел сожженные села - Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, но немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз - минус тридцать пять, крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белесое небо; ее муж был учителем математики, ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок; его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о «нормализации жизни», о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы, уходя, подожгли музей, и он еще горел. За два дня дивизия прошла

около двадцати километров. Генерал Орлов шутил: «Скоро ко мне приедете...» (Он был из Белоруссии.) Ночью одни майор раздобыл водку, колбасы, и мы пировали. Майор, загибая большие заскорузлые пальцы, считал: «До Гжатска шестнадцать километров. Можем дойти в два дня...» Но до Гжатска оказалось четыреста тридцать дней - предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали.

(Я не был одинок в своих надеждах. В. С. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне: «Люди точно стали иными - живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо! Население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом народ словно вдруг проснулся... Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так. И есть много оснований так думать». Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он не предвидел последующих испытаний.)

А. С. Щербаков с насмешкой мне сказал: «А вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ!» Москва действительно теряла свой облик прифронтowego города. Правда, ночью патрули останавливали на каждых ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице; но «ежи» с улиц убрали; прохожих стало больше. Открылась даже выставка пейзажей; в помещении было холодно, и люди любовались живописью в шинелях или тулупах...

Люди вспоминали о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор «Известий» позвонил мне ночью: «Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали как джентльмена. Это можно понять как намек - он ведь и к нам приезжал. Переделайте...» Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»: дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их отстаивал,

как мог, ссылался и на глинистую почву, и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть, и дожди остались желтыми. В «Красной звезде» как-то ночью начался переполох: «Увлечлись войной, а про даты забыли! Завтра пятая годовщина смерти Орджоникидзе...»

В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме - от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президиума угостили солониной; потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел шесть-семь лет спустя. Л. Н. Сейфуллина не выдержала: «Мой отец был обрусевшим татаринном, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но, когда я слышу такие слова, мне хочется сказать, что я татарка...» Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну.

(В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, к кому тянешься, видишь очень редко. С Л. Н. Сейфуллиной мне привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. Я помню ее молодой - в Москве, в Париже. Маленькая, огромные глаза, чуть насмешливая улыбка - было в ней большое обаяние.

В двадцатые годы книги Сейфуллиной сыграли крупную роль становлении советской литературы. Меня они привлекали искренностью - никогда Лидия Николаевна не знала того, что в писательской среде называли «двойной бухгалтерией». Пуще всего она боялась лжи. Ее любили люди, непохожие друг на друга, - Маяковский, Бабель, Фурманов, Есенин, Светлов, Лидин. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никакие литературные школы или направления не могут породить длительной дружбы. Лидия Николаевна была чрезвычайно скромной, она вскоре была оттиснута, ее не замечали, точнее, старались не заметить. Правдивость - это не литературное направление, и совесть не художественный метод. Сейфуллина была всего на два года старше меня, и я поверил в правдивость ее ранних книг, ко в то времена они были мне далеки. А к

Лидии Николаевне я сохранил до копна любовь за ее душевные качества.

В последний раз я встретил ее в Союзе писателей возле вешалки; разговор был коротким, и все же, как и при былых встречах, мы оба обрадовались. Она хворала, с трудом ходила, но в душе оставалась той же. Умерла она в апреле 1954 года, и, проживи еще полгода, она узнала бы о реабилитации своего друга И. Э. Бабеля... А в моей памяти она осталась порой шутливая, даже озорная, порой возмущенная, с той обостренной совестью, которую мы, вспоминая литературу прошлого века, называем «русской».)

В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было...» Ему удалось бежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали нить, о плотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал - не помню.

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных, нетопленных квартирах лежат умершие - у живых нет сил их вынести, похоронить.

Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи - пламя свечи, голубая и розовая Калуга... У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу. (С той поры прошло почти четверть века, и многие из тех, с которыми я встречался

в трудные годы войны, выпали из моего зрения - одним слишком хотелось мнимой славы, другие преждевременно состарились и превратились в чтимые многими окаменелости былой эпохи. А с Маргаритой (Иосифовной я подружился. Помню обед на правительственной даче в 1957 году, когда ее незаслуженно поносили, ее голос был еле слышен, как голос маленькой пичуги среди урагана,

но она стойко отвечала. Бог ты мой, насколько это важнее, чем все славословия и даже чем поэтические вечера в Лужниках,- сохранить свое достоинство, не дать ветру задуть крохотный светильник!)

В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацревине - «пропали без вести». Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали - я иногда отворачивался.

Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лицицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса.

Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием; все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице «Москва» еще можно было получить еду; как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал: «Мы еще эту печенку вспомним»; действительно, через месяц все изменилось. Я получал в ЦДРИ один обед, его ели почти всегда трое, а то и четверо.

В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили - Шапиро, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати для Юнайтед Пресс, для «Марсейез», для английских и шведских газет.

Почти каждый день мне приходилось выступать - то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчиков. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос, люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря: тростник мыслит.

Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах, и вот одна статья («Враг») кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к редактору «Известий», писал Щербакову, но ничего не добился; его перестали печатать. Рассердились и на Е. Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». К. А. Уманский говорил: «Скучно! Немцы в Гжатске. Идет переброска дивизий из Франции. Мне поручили написать поту о зверствах. А тут открывают второй фронт - наступление на Женю Петрова...»

Но бог с ними с начетчиками, поре страховщиками и помпадурами,- в годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта, из тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин - о наших женщинах в годы войны мало написано, а они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области: «От Семеновы Елизаветы Ивановны. Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Козицино враг, у меня, у Семеновы, первой взяли корову. Потом у меня взяли гусей. Я стала не давать, дали мне по щеке. И затопотал он на месте: «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке, и закричали: «Уйди! Пускай враг жрет». На другой день ко мне пришли, брали последнюю овцу. Я стала плакать, не давать. Германский тогда затопотал ногами и закричал: «Уйди, matka!» Когда я обернулась назад, он выстрелил. Я от ужаса упала в снег. А последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без средств с троими детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии. Круглов Алексей Егорыч, Круглое Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады! А мы будем вам помогать, чем только можем».

Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов: «Здравствуй, любимый братец Митроша! Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом и хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами... Когда пришло извещение о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает: «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филю убили, то мама сразу обмерла. Мы очень плакали целые два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал: «Пана, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно, и здоровье мое хорошее...» Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю, Митроша, отомсти немцам, за своего братца. Будь героем!... Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься... Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока ничего. Наташа бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо,

хлеба нет, есть совершенно нечего. Из колхоза дадут 9 кг. на 7 человек на 5 дней. На нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего. Все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого братца, он погиб за счастье народа...»

Вот отрывки из письма О. Хитровой: «Часто слышишь, что теперь война и поэтому скоро и нам конец и поэтому не стоит делать хорошо. А разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уж раньше смерти умрешь, то победы не увидишь... Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит, вообще на все смотрит спустя рукава. А зачем это? Ведь от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддавалась такому настроению, услышу плохую сводку в утра - и весь день все из рук валится. А теперь душой скрепилась, Услышу сводку - плохо, а я себе говорю - назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти! Если у нас где-нибудь шпион, пусть увидит, что мы боимся...»

Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково, Эдды Халифман: «...Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я «по нежестости», как говорят в Котельникояе, была от него освобождена. Перед самым уходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, ваяла в руки свои работы - вот лексикология французского языка, работала над ней год, вот история французского литературного языка XIX века - два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание - четыре года работы, поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев, вы знаете, что это значит... Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восемилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фашистов и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в

зоо, а в степи. Много было страшного. Потеряла здесь отца. Пришли известии с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе, страдания сочетаются с жгучей ненавистью, то становишься крепким, хочешь, как шутливо говорят мои друзья фронтовики, «выдержать рентгеновское просвечивание войной»... Нелегко приходится - новая среда, новое окружение требуют новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового Совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки... Чтобы выдержать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы...»

Я и теперь разволновался, перечитав груды писем, тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать «рентгеновское просвечивание войной»...

Жил я в гостинице «Москва» (моя квартира была повреждена при бомбежке), жил как в раю, или, вернее, как в «Княжьем дворе» в 1920 году,- тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, я в феврале дописал последние главы «Падения Парижа»- Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице, Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров, как всегда, был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас многое переменится. Суриц сердился: «Люди не так легко меняются,- и, понизив голос, добавлял:- Он тоже не изменился...» Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил: «Лучше ждать худшего»...

К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Г. К. Жуков рассказал нам, как протекало наступление; битва за Москву закончена; может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом неожиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина, говорил он без привычных трафаретов - «гениального стратега» не было, да и в тоне не чувствовалось обожания; поэтому

его слова на меня подействовали. Он повторял: «У этого человека железные нервы!...» Рассказывал, что много раз говорил Сталину: необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву; дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал: нужно подождать - через три дня прибудет такая-то дивизия, через пять дней подвинут противотанковые орудия. (У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые перебрасывали к Москве.) Только когда Жуков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я записал рассказ Жукова.

Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией прежде всего его «гениальности». Большая советская энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами; в хронологии событий, где приведены почти шестьсот важнейших, сто относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствиям и приемам. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены «десять сталинских ударов». Приложена фотография: «Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вел переговоры с фронтом». Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль, в победе над Германией непомерно преувеличивалась. Но рассказ командующего Западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят.

(Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина. А наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из «Огонька». Снова припомню слова Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить...»

Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое; люди надолго сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от

Ягоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели - трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже «тьмы низких истин». Однако бывают обманы, которые принижают человека, и я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду.)

В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если и вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы, что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном «сокращении линии фронта» не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый удар, не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку: наступило страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предрешила.

Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости; техника у рейхсвера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941-1942 года обозначилась слабая сторона фашистской армии она оказалась пригодной только для наступления, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома.

Я сейчас задумался нал этой книгой; я пишу предпоследнюю часть, приближаюсь, следовательно, к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выйдут черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался и с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но и с ними не дружил не потому, что был особенно зорким, просто судьба смилостивилась. Были и у меня разочарования, порой и если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызывавших душевное принижение многих, не хочу сулить, тем паче что не убежден в своем беспристрастии.

Все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить.

Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря: все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже двенадцать лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась, но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть.

Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова. Он меня изумил прежде всего ростом - метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами - говорил он образно, порой нарочито грубо и вместо с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коробило - было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».

На следующий день солдаты говорили со мною о генерале, хвалили его «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»...

Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за Безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не решалось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон.

Потом я увидел расщепленный лес, он казался мертвым. Снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млеет и чуть поникает. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку.

Мы прошли в блиндаж; видимо, там жили немецкие офицеры: стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского какао. Санитары выносили раненых. Власов говорил: «А до Петушков не дошли... Треклятые Петушки!... Впрочем, так нужно - прогрызаем их оборону...»

Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили; вернее, говорил Власов - рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду, простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменялось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной Поляны - начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил... Многие он критиковал: «Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейца, кто командует его батальоном, он отвечает «рыженький», даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Суворов умел себя поставить...» Желая что-либо похвалить, повторял: «Культурно, хорошо». Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался: «Мы до них доберемся...»

Вскоре после этого сказал: «У них есть чему поучиться. Видали в блиндаже кровати? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат уважает своего командира, не ответит «рыженький»...» Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю, не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают...»

Среди ночи он разнервничался: немцы осветили небо ракетами. «На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверно, возьмут назад ложбинку...» Часто он вставлял в рассуждения поговорки, прибаутки, были такие, каких я раньше не знал; одну запомнил: «У всякого Федорки свои отговорки». Еще он говорил, что главное - верность; он об этом думал в окружении. «Выстоим - верность поддержит...»

Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный: «Товарищ Сталин оказал мне большое доверие...» Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину - поехал на передний край проститься с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные: «Пообедаем...» В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки. А я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолюбивым, но смелым; тронули его слова о верности. В статье, посвященной боям за Безымянную высоту, я коротко описал командующего армией.

Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование 2-й ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда, и я подумал: что ж, выбор неплохой...

Четыре месяца спустя, а именно 16 июля, немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира; он прятался в избе, был одет как солдат, но, увидев немцев, закричал, что он генерал, и, приведенный в штаб, доказал, что действительно является командующим Особой армией генералом Власовым.

Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, рассказал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку, и ругался.

Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образует из военнопленных армию, которая будет сражаться «на

стороне Германии - за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя».

Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне: «Жидовская собака Эренбург кипятится», подписана листовка «Власовцы». Я вспомнил, как рослый генерал в бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал, И выругался (правда, не цветисто - я не Власов).

Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переоделся. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было - было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его посадят, в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать всё, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил, он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: «У всякого Федорки свои отговорки»...

Власову удалось набрать из военнопленных несколько дивизий. Одни пошли измученные голодом, другие потому, что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими, и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузена рассказывали о жестоких расправах власовцев с населением. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания.

В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой Должик. Их окружил

батальон, они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков, третий и санитарка были тяжело ранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика Напивакова, а девушке, обливавшейся кровью, грозили пистолетом - хотели, чтоб она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было двадцать девять лет.

А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я получил письмо с припиской: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев: «Дорогой Илья Григорьевич! Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете - Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о героическом подвиге старшины Лычкина». Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение; несколько человек струсили, убежали к немцам, других убили; живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем боевом друге.

Я сейчас говорю не о фашизме, а о людях.

Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на все, решительно на все. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. (Все о нем давно позабыли, даже его подручные, вовремя убежавшие в американскую зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а «свободный мир», им неудобно вспоминать о том, что они были власовцами.)

Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всеущ - он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это

всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы давно потерявшего дар удивления.

Передо мной маленькая фотография: редакция «Красной звезды» ночью. Я принес очередную статью, за столом капитан Копылев, рядом стоит Моран; лампа освещает газетную полосу.

Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945-го - с ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помню, как содой от ныли, измученный солдат (та пехота, что шагает) упрямо повторял: «Нет, ты мне дай «Звездочку»...» У меня сохранилось письмо от женщины из Томска: «Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни...» В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Конечно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди.

В 1941-1943 годы газету редактировал Д. И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не щадил ни себя, ни других. Я был с ним под Брянском. В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Миномет...» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!» О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить - он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох»: после того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывал полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь наверху не понравиться. Так вот генерал Вадимов если и «ловил блох», то без лупы; часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что, когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», эти означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось не

часто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авдсенко, который незадолго до войны по приказу Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом - писал, что Авлеенко «боевыми действиями искупил свою вину». Очерк был напечатан. Два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге. Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали эринии; пожалуй, он был прав - фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против «рептилий», против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из ЦДРИ, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала не поверил, потом рассвирепел и отпраился ни более ни менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплинговские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям.

В конце июля 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте; сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев объяснил: «Умчался... Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке, В общем, его сняли. Щербаков его не выносит...»

Вадимов вскоре уехал на фронт, в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей; он написал в ответ: «Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бурь!»

Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала - это был Н. Л. Таленский, новый редактор «Красной звезды». Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя, к счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Таленским я ездил в 1962

году в Брюссель на совещание «Круглого стола», посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком.

Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет свои, а тогда частенько писал передовицы - Вадимов шагал, чуть прихрамывая, по кабинету и объяснял, что именно Моран должен написать. Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в «Известия», его арестовали как «космополита», и я снова его увидел только в 1955 году.

Работал в редакции М. Р. Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в немилость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменялось, кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво. А он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 году я поехал с ним в Америку, и о нем, о его судьбе напишу в последней части этой книги.

Ортенберг сумел прикрепить к газете хороших писателей. В. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Г. Петров в начале войны писал для «Известий», но последние, севастопольские очерки появились в «Красной звезде». Среди военных корреспондентов газеты были и другие писатели - Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить А. Н. Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу - составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет - словом, делал, что мог.

Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете коптилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов или Карпов швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко. «Одновременно с этой запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает - сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем Советского Союза, о его геройстве узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул: в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «...Я с завистью вижу, как другие стреляют немцев и могут это делать не раз в месяц, а каждый день...» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка; на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке - напротив все еще занятого немцами Киева - я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне о жизни, об искусстве. Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер подходил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь и моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня...» Мы расстались

будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб как солдат - от пули.

На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Соже - Симонова, у Можайска - Ставского, в Белоруссии - Твардовского, в Вильнюсе - Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе - нам было не до этого.

Я вспоминаю конец сороковых годов... Трудно себе представить, что во время войны мы жили как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья А. Я. Таиров, П. П. Кончаловский, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, А. А. Игнатьев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг; мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта; «...Чего, например, стоят все эти стишки о том, что солдат идет в бой, распевая песню о любимой или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты «Синего платочка»? Неужели так и не подыметесь смелый, авторитетный голос в защиту русской поэзии против пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать, а что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы». Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне: «Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово - потому, что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантируют прямоту и резкость суждений - лучшие качества в критике...» Письмо было подписано Н. Грибачевым.

Признаюсь, меня и те годы мало огорчали даже трескучие стихи. (Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все залушал.) Просматривая уцелевшие записные книжки, я нахожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей,

даже не журналистов - артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать.

Генерал П. И. Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила «Двенадцать заповедей» - инструкцию, подписанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. П. И. Батов пишет: «Политработники 65-й армии использовали «заповеди» в беседах с бойцами. Помнится, у чеботарцев беседу проводил лично командир полка. Гневный смех. Резолюция: «1. Клянемся бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге. 2. Послать «заповеди» товарищу Эренбургу и просить раздраконить фрицев через «Красную звезду». Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях.

Одну из моих статей 1942 года я озаглавил «Жить одним!». Прожить жизнь одним очень трудно, это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах да еще, может быть, ученому. Человек - сложное существо: не птица и не рыба, он живет в различных стихиях, живет разным и по-разному. Но, видимо, почти каждому приходится хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, до привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941-1945 годы - в годы «Красной звезды»...

Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков - просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать мы или немцы.

Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам почитаю стихи». Я приготовился к очередному испытанию - кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах.

Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где ревут орудия. Я повторял: «Еще... еще...»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался.

Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно:

Когда на смерть идут - поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою -
час ожидания атаки...
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год -
ты, вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.

и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо...
Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

Я видел первую мировую войну, пережил Испанию, знал мною романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью - романтически приподнятых или разоблачительных - Стендаля и Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны; многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком, лира - лирой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. А Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-добровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи - Думиничи - Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. (При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда...»)

В то утро он мне прочитал и «Балладу о дружбе». Слово «баллада» еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем не романтичными. Боец знает: один из двух должен погибнуть, выполняя задание,- он или его друг.

Мне дьявольски хотелось жить,
пусть даже врозь,
пусть не дружить...
Ну, хорошо,

пусть мне идти,
пусть он останется в живых...

Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с тем мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления: «На сажень человеческого мяса нашинковано»... Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие. «Священная война»? Не те слова! И вот я услышал стихи Гудзенко...

В то утро я ни о чем его не спрашивал - слушал стихи; узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в ИФЛИ и слышал мои стихи о Париже в сороковом году.

(Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке: «Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней...» Так часто бывает при первой встрече: мы не знали друг друга и рисовали собеседника, руководствуясь своей собственной душевной настроенностью.)

Я читал стихи Гудзенко всем - Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Морану; звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью.

Он пришел снова, мы пригляделись друг к другу. Я его полюбил.

Стихи его напечатали. Потом устроили вечер в Клубе писателей; он вошел в литературу. Время было военное: быстро призывали, быстро признавали, быстро и забывали.

Он был смелым и удивительно чистым; перед смертью он не оробел; а в литературной среде на первых порах выглядел смущенным подростком. Расскажу об истории с двумя строками, которые я привел выше:

Будь проклят
сорок первый год -
ты, вмерзшая в снега пехота.

Редактор потребовал замены. Гудзенко послушно написал:
Ракеты просит небосвод
и вмерзшая в снега пехота.

Я его спросил, при чем тут небосвод, он виновато улыбнулся: «Что я мог сделать?...» (Прошло пятнадцать лет. Гудзенко умер, и в издании 1956 года появился новый вариант, столь же нелепый: «Тяжелый сорок первый год и вмерзшая в снега пехота» - как будто солдат, которому кажется, что он притягивает мины, академически размышляет: год тяжелый. Только в 1961 году, после того как начала оттаивать вмерзшая в снега поэзия, восстановили подлинный текст.)

В феврале 1945 года он мне писал с фронта: «Посылаю вам пять стихотворений - печатных и непечатных. Пишу вообще много, записные книжки полны, но что из этого получится, бог знает. Если что из стихов можно напечатать, будет хорошо... В стихах чернилами даны печатные варианты. Я ведь обучен цензурой с первого стиха».

В 1942 году Гудзенко говорил о будущем сурово и с доверием. Как все его однополчане, да и как почти все его соотечественники, он верил, что после победы жизнь будет лучше, чище, справедливее.

Гудзенко, едва оправившийся от тяжелого ранения, в Москве попал под машину. Он долго пробыл в тылу; работал в Сталинграде, в выездной редакции «Комсомольской правды». Оттуда он прислал мне свои стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило, как открытие:

...И наконец-то
с третьим эшелоном
сюда пришла
сплошная тишина.
Она лежит,
неслыханно большая,
на гильзах
и на битых кирпичках,
таким
сердцебиением оглушая,
что с ходу засыпаешь
сгоряча.

В сентябре 1943 года он мне писал: «Собираюсь на Украину. Киев не дает покоя. Вероятно, скоро там буду. О тыле больше писать здесь не могу. Снова нишу о фронте. Что получится?»

В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробежала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке:

«Гудзенко спрашивал, зачем ввели отдельное обучение, вводят форму, рассказал, как обидели еврея-киевлянина. За год он очень повзрослел».

Гудзенко шел с армией на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытаний? В 1942 году Гудзенко писал:

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново -
обожженное, нелюдимое.

В 1945 году изменились не только названия городов, где шли бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам:

Занят Деж,

занят Клуж.

Занят Кымпелунг.

...Нет надежд.

Только глушь.

Плачет нибелунг.

Незадолго до победы он писал мне: «Война на нашем участке еще на стоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву... Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется...»

Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал старую, вылинявшую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов - он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона. Он знал, что это большие дела большой столицы, но что «у каждого поэта есть провинция», признавался:

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинции -
Война...

Есть в его книжке такая запись: «Читал на станкозаводе имени Орджоникидзе... Слушали... Мне самому от своих стихов было скучно...»

Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он ни писал, в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо: он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал, слыл примерным оптимистом. (Я вспоминаю его юношеское признание: «Вечные спутники счастья - сорок сомнений и грусть».) Как-то мимоходом он сказал мне: «Я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно...» Я не возразил, а может быть, он ждал возражений, не знаю.

Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал:

Мы не от старости умрем,-
от старых ран умрем.

Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Это напоминало обычную армейскую песенку. А в 1952-м мне рассказали, что Гудзенко болен - последствия военной контузии, едедали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом...

Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной и далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане.

До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я!

За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло; может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я; да и время было не очень-то благоприятное для душевных бесед. Два или три дня спустя он забежал ко мне на минутку, будто бы забыл надписать книгу, постоял, поулыбался и, уже прощаясь, сказал; «Многое не так получилось... Но мы еще увидимся, поговорим...» Больше я его не видел.

Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала нюха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных - снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц февраль, в очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года незадолго до первой оттепели.

Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи, Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи; они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до войны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое он назвал «Мое поколение», навязчиво повторяется строка:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...

Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темной передней: «Многое не так получилось...»

А Гудзенко до слез жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года, когда на короткий срок поднялся выше всех, увидел и сказал...

Десятого марта 1942 года мне позвонил представитель сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор «Метрополя» согласился предоставить крохотный номер. (Умывальник стыдливо прикрыли скатеркой.) По тому времени обед был прекрасный; дали водку. Гарро оказался подвижным французом, небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно де Голлю в Лондоне: для англичан он эмигрант, и только. Гарро строил планы: почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий? Можно начать с авиации. О положении во Франции он отзывался, скорее, мрачно: «Возмущаются немцами почти все, но, что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие...» Себя он неизменно называл «якобинцем».

Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Пети, журналист Шамненуа, турецкий консул и настоятель московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал: «Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать «бедную Германию». Для них война - это партия в крикет...»

Я рассказывал о том, что видел на фронте, и отец Брон возмущался фашистскими зверствами. Вскоре после этого А. С. Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части: «Напишите для них листовку - вы ведь бывали в Словакии...» Я сразу подумал о Броне: среди словацких крестьян было много верующих, и на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства (дипломаты еще находились в Куйбышеве). Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость и что с Ватиканом нельзя шутить. Мы говорили о догматах церкви, о положении на фронте, о де Голло. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горючего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше

положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передвигаться, чтобы причащать умирающих, а получив отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом.

В апреле, когда я получил за «Падение Парижа» Сталинскую премию, Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля. А генерал Пети прислал длиннущий трут для зажигалки: всю войну, в отличие от отца Брона, я мог не беспокоиться о бензине.

Генерал Пети был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямоотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа; я был у него во Дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался недолго - не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, осовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал: «Вчера меня пластиковали...»

В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро: «Второй фронт отложен - возврат мюнхеномании», «Англичане и до войны проводили уик-энд в Дьеппе - увеселительная прогулка, а мы поверили», «Вы воюете у Сталинграда, а они обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободить от немцев и в свою очередь оккупировать»...

Двадцать восьмого сентября 1942 года Советское правительство признало Национальный комитет сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать от лица французского народа. Гарро меня обнимал. Он выступил по радио со страстной речью: «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверья между СССР и Францией, которая вернет себе престиж и величье». В ресторане «Арагви» Гарро восклицал: «Мы должны повесить всех генералов вермахта, это не военные, а преступники!...»

В декабре 1944 года в Москву приехал де Голль, его сопровождали генерал Жюэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли и в тупик: де Голль не хотел признать новое польское правительство («Люблинский

комитет»). Меня пригласили на обед во французское посольство. Дам не было, и рядом с де Голлем сидели С. А. Лозовский и я. Де Голль почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать де Голля - он ведь человек XVII века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны были переполнены, и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение. А генерал де Голль вздумал обратиться к ним с приветствием. Услышав, что высокий француз- генерал де Голль, роптавшие испугались: будут неприятности. В вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «мерси». Де Голль рассердился и добрый час доказывал мне, что московская толпа напоминает ему каторжников. Для меня он был человеком Сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции.

Генерал Жюэн показался мне бравым военным. На «Жизели», пока танцевала Уланова, он дремал, говорил: «Я думал, что у вас, по крайней мере, нет всей этой чепухи с привидениями...» На следующий день он увидел Ансамбль Красной Армии. Когда начали плясать вприсядку, он вскочил и радостно крикнул: «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что потом он солидаризировался с ОАС.

Бидо вил водку и злился. Подошла последняя, решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Било для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что де Голль пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Де Голль уехал в посольство, Молотов и Гарро договаривались о спорных формулировках пакта. Гарро мне рассказал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой, обмотанной мокрым полотенцем: «Господин министр, наденьте брюки,- мы договорились, вам нужно подписать документы».

В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсейез», издавал ее Киллиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсейез» ответил мне газетной статьей: «Больше года Россия почти одна несет

тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал ответа на свои обращения. Сегодня мы можем ему ответить... Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнут за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами...»

Война рождает то, что мы называли «чувством локтя». У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной у генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками,- Морис Торез, Гарро, Жан Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства Шмитлейн, Шампеиуа, Горе, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильнюса несколько бутылок старого бургундского - мне их дали танкисты, разочарованно говоря: «Илья пишет крепко, а любит квас...» На бутылках значилось по-немецки: «Только для вермахта. Продажа запрещена». Я позвал к себе московских французов. Гарро чокался с Торезом «за победу»; вино мы пили с особенным удовольствием - оно ведь предназначалось для немецких офицеров.

В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков - эскадрильи «Нормандия». Французов поместили возле Иванова, там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа; мы повезли подарок - патефон и пластинки. Приехали мы как раз к сочельнику, который во Франции празднуют все, как у нас Новый год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила: в ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку - назначала свидание. «Нормандия» стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французы, не привыкшие к таким зимам, зябли. Но летчик, получивший записку, решил попытать счастья и добраться до девушки по указанному ею адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили, и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело говорил: «Все равно я ее найду...» Французам устроили пышный ужин. Все выпили, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из

подавальщиц мне шепнула: «Молятся... Убьют их, да еще на чужбине...»

Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до Сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали «Тютю». Генерал Захаров после гибели капитана Литтольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтоб Тюлян не рисковал собой: «Вы - командир, не имеете права...» Но Тюлян погиб летом 1943 года пол Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный, он был доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил: «Положение очень тяжелое»... Мы его похоронили на Немецком кладбище (по странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе Наполеона на Россию). Санитарка плакала. Погибли капитан Литтольф, лейтенанты Тедеско, Дервилль, де Сейн Деии, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два Героя Советского Союза уцелели: Альбер, в прошлом рабочий завода Рено, и аристократ - виконт де ла Пуап. (Один из его предков был генералом Французской революции, сражался против шуанов, а потом в Италии против Суворова.) «Нормандия» стала «Нормандия - Неман», на ее боевом счету было триста сбитых самолетов. В нашем небе сражались девяносто пять французских летчиков, из них в живых осталось тридцать шесть...

Я навешал летчиков «Нормандии» возле Орла, потом около Минска; встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант де Сейм погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли позабыть, как советские бойцы спасли в заливе Фришгафф лейтенанта де Жоффра? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях... Кровь оказалась вязкой.

Двадцать второго августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщения о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гарро; «Париж победил...» Я пошел во французское посольство. Там были генерал Пети, Гарро, Шампенуа,

сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький патефон непрерывно исполнял «Марсельезу». Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жана Ришара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили: за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Парижский комитет освобождения. Я спросил Гарро, кто это полковник Роль,- в одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гарро восхищенно ответил: «Кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае, он герой!»

Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы.

Летом 1946 года я был в Париже, там устроили торжественный вечер. Зал Плейель (тот самый, где три года спустя собрался Первый конгресс сторонников мира) был переполнен. В президиуме сидели Эдуар Эррио, Ланжевен, Торез, генерал Пети. Ждали председателя Совета министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя «фликами» (так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде). Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить - он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался; я его вовремя поддержал; в зале, наверно, думали, что мы обнимаемся... Все же он произнес речь, восхвалял меня...

Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство, мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву, я попросил у французов транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. «Флик» зорко глядел, чтоб я не улизнул, проводил меня на борт швейцарского самолета; видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер Почетного легиона, а воришка, которого ведут в каталажку.

Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего рейхсвера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже, захваченном немцами. (Гарро когда-то мечтал, что всех генералов Гитлера повесят; говорит, он теперь изменился; я его не встречал.) Недавно возле Реймса

состоялся парад - французские солдаты маршировали рядом с немецкими.

Когда я был мальчиком, танцевали кадрили - джаза еще не было; в этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал: «Кавалеры меняют дам!» В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрили. В 1912 году русские газеты писали о единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. Сербь, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой; началась война между Болгарией - с одной стороны, Сербией и Грецией - с другой. Турция, я свою очередь, напала на болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начала войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Д'Аинунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрепилось прозвище «латинская сестра». В 1940 году «сестра» напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно.

Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали; я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1939 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе; вспомнил рассказы о партизане, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году; и мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетом и что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики.

Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки:

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.

А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город...
Прости, что жил я в том лесу,
Что все и пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.
В другом стихотворении имеется горькое признание:
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?

Но это сказано в сердцах - я не мог, да и не могу относиться к Фракции как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет.

Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями, аргю Бельвилля или Меннльмонтана березовый лесок, где летом 1943 года располагалась эскадрилья.

Я знаю, что забвение - закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое - как под влиянием событий невольно деформируются человеческие взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия: шагаешь, и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют «временем» или «историей»: «Налево! Направо! Поворот кругом! Шагом марш!» Потом остается вежливо отмечать: с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись...

После долгой и суровой войны все радовались весне. Мы нежились на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминаю Думиничи. До войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны - все, что оставалось от Думиничей. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал: «Санитария! А ему, гаду, что? Ему лишь бы поломать... Сходил бы я сейчас в баньку! Только, я думаю, этому конца не будет, наверно, еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите, да покрепче. Люди очень переживают... Вчера политрук говорил: «Да если он, нахал, сунется, мы его так тряхнем, что он свою фрау не узнает». А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Оспова, паразит, убил. В газете про него было... Вы мне объясните, почему он, гад, людей убивает?...»

В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли; да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса О. Ф. Берггольц мне рассказывала, что, когда ее арестовали, в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине, резкие движения причиняли ему боль; об этом мало кто догадывался - Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму, зима их, скорее, выручила - приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других, может быть, так думал, если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда не соответствующих действительности.

Два месяца спустя я слышал от военных: «Зря мы силы разбрасывали - Юхнов, Сухиничи... А к обороне не приготовились». У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться,

нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история - любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранию художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. В сборнике русских пословиц, собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла; есть там и такая поговорка: «Черт ли писал, что Захар комиссар».

Восемнадцатого мая в сводке говорилось о наших больших успехах на Харьковском направлении. Я сидел, писал статью, когда пришел полковник Карпов и, загадочно усмехаясь, сказал: «О Харьковском направлении не пишите - есть указания...» Неделю спустя немцы сообщили, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 июня мне позвонил Щербаков: «Пишите за границу о втором фронте»... Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте.

Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов: Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску, что марбургские бурши дивятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным.

Я сидел и писал, писал ежедневно в «Красную звезду», писал для «Правды», для ПУРа, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала.

В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял: «Такого драпа еще не было...»

Отступление казалось более страшным, чем год назад: тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма, полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать; все же мне удалось летом 1942 года сказать долю правды - никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до его, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в «Правде»: «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил: «Об этот стол все расшибаются». Я спросил: «Почему не переставите?» Он ответил: «Заведующий не рас порядило и. Переставлю - вдруг с меня спросят:

«Почему это ты придумал, что это означает?» Стоит и стоит - так спокойней...» У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия». А вот из статьи в «Красной звезде»: «Кто сейчас, расскажет, как люди думают на переднем крае-напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители... Война - большое испытание и для народов и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено... По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу...»

На фронте было много бестолочи и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение.

Москва была одновременно и глубоким тылом, и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки:

Жил-был у бабушки серенький козлик.

Сказка-то сказкой, а немцы-то возле...

На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи. Люди хмурились, молчали. Все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев: «Отечество в опасности!»

У меня сохранилась записная книжка того лета; записи коротки и несвязны - даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни.

Из Керчи приехал Сельвинский, говорил: «Бойцы научились, генералы нет», рассказывал о панике, о немецких зверствах - загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии - агония города: развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке.

Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали.

Я спросил английского посла Керра, когда же откроют второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина, он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и не важно - пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк.

Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздались крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала.

Прибежал в возмущении корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро - цензура ему вычеркнула фразу: «от Воронежа до Дона восемь километров».

Женщина продавала картошку сорок пять рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил десять рублей. В Москве жила француженка Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила: «Ванечка приехал, привез бутылку масла...»

Двадцать шестого июля был книжный базар. Писатели надписывали свои книги. Одна женщина запротестовала: «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся.

А. Н. Толстой пыхтел в трубку, говорил: «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те...»

Двадцать девятого июля был опубликован указ об учреждении новых орденов - Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина; в нем шла речь не об орденах, а об оставлении бея приказа Ростова и Новочеркасска, о беспорядке, панике; так дальше продолжаться не может, время опомниться: «Ни шагу назад!...» Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне: «Отец обращается к детям и говорит: «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому...» Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения - как справку.

Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу.

Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда.

В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию- хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти: «Мое сердце из красного сахара».

Я получил дневник секретаря полевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля: «Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00... Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны... Уничтожен также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотки...» Я напечатал дневник и получил письмо старшины из Буденовки, который знал расстрелянных. Фридрих Шмидт признавался в дневнике: «Я не могу больше есть...» Трудно было жить, зная, что такие люди под боком.

Мне прислали «Народный календарь, спутник сельского хозяйства», его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день тогда я прочитывал страшные документы - о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унижить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь? Но так порой бывает - возмущает деталь; я разозлился, выписал «памятные даты»: «Январь. 12-е - рождение Геринга и Розеиберга, 29-е - рождение Чехова. Февраль. 10-е - смерть Пушкина, 23-е-смерть Хорста Весселя, 24-е - годовщина провозглашения Гитлером программы национал-социалистической партии, 26-е - смерть Шевчеики» и так далее. Я вдруг припоминал и ругался: «Геринг и Чехов! Хорошо!...»

Пятнадцатого августа было собрание писателей.

А. А. Фадеев говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не ныть. В тот день немцы заняли Элисту.

Казах Аскар Лехеров писал мне с фронта: «Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть как герой...»

Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько

раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины. На заводах работали дети и в перерывах затевали игры. Всё мешалось - геройство и оцепенение, духовный рост и жестокий быт.

С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил: «Не рассчитывайте - никакого второго фронта не будет...» Я писал резкие статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандарт», «Дейли геральд», говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты печатали статьи, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденции, но английские министры, даже информации, в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа.

Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Леланд Стоу был оптимистом, говорил: «Скоро будет десант во Франции или в Голландии», - оптимизм у него был прирожденным, как у П. П. Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне: «Наверно, второй фронт откроют через неделю-другую...» Хиндус и Верт, напротив, были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее, помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха... И если мы порой смеялись, то невесело: открывая американские консервы, именовавшиеся «тушенкой», фронтовики злобно приговаривали: «Ну, откроем-ка второй фронт»...

В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги: простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались: договорятся или нет? Прибежал Шапиро: «Гарриман недоволен результатами». Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся: «А кто доволен? Разве что Петен?» Коммюнике было туманным.

Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьеппе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали: «Теперь немцы скиснут!...» Меня спрашивали, где Дьепп. Я был настроен скорее скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций, Сталин убедил Черчилля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову: нужно ли посвятить высадке в Дьеппе передовицу.

Иллюзии длились недолго: десант в Дьеппе оказался небольшим рейдом. (До войны на воскресенье в Дьепп приезжало очень много англичан- уик-энд, дешевая экскурсия.) Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение? В редакции Моран декламировал стихи Полежаева:

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь -
Он любит есть
И после сесть
На пароход...

Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьепп рядовые англичане, но у нас люди возмущались - им казалось, что их обманули. На войне исчезают многие хорошие чувства; часто я ловил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы; в газетах его называли «боевой выручкой». Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом счете полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем «бутылками» пять танков,- можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня и людей, с которыми я встречался, самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть - каждый раз это потрясает, кажется чудом, и, как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни.

Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой,- она может быть понятной всем, по, будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое - совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, и не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники качали военные операции летом 1944 года, а не 1942. Уилки, а позднее Идеи говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели «лишних жертв». Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. «Лишние жертвы» достались нам. Понять подобный расчет можно -

не такие уж это сложные выкладки, а вот забыть о происшедшем трудно - почти у каждого из нас оно связано с личным горем.

В сентябре генерал Ортенберг разрешил мне поехать ко Ржеву, где начиная с августа шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится: «Наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя, и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда». В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека - бои были очень кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда, и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального - неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок.

Зарядили дожди; вопреки утверждению редактора «Правды», они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог! Машины буксовали, и с отчаянными криками «раз» их пытались столкнуть с места. Кое-где дорога была устлана срубленными деревьями, и замызганные «виллисы» подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали ко Ржеву долга. Вместо Торжка, Старины, сожженных немецкой авиацией, чернели обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотоносной породы.

С одного из бугров можно было разглядеть Ржев; от него мало что оставалось, хотя издали он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев; все время я видел два жилых корпуса - тот, что повыше, солдаты пазыдали «полковником», второй - «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем бон; изуродованные снарядами и минами деревья казались кольями, натканными в беспорядке. Земли была изрезана

окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую.

Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись.

В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова - враги копошились рядом в таких же окопах. Глушили басы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов.

Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали; созданся быт - толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При робком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей (их называли «автоматчиками»), заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел говорить - предпочитали вспоминать или загадывать. Когда извивались ракеты, кто-нибудь спокойно ругался: «Развесил, гад! Сейчас начнет...» Два часа спустя другой сплевывал: «Вот паразит! Это он пикирует...» В штабе раздавали Ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги; санитар жаловался: «И часа поспать не дают...» Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли: «Ока, дай мне Звезду». По наивной конспирации полки, батальоны именовались в телефонных разговорах «хозяйствами». Командир кричал Оле или Вере: «Да что вы, вашу мать, мешаете!...» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи; они часто пугливо сжились - слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал: «Подвиг старшины Кузьмичена. По заданию командования...» Потом он делился новостями с приятелем инструктором по партучету: «Говорят, Мехлиса снимут, вот это будет номер!...»

За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой, она возмужала, и хотя все знали, что на юге происходят страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелеют, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый суеверно старался об этом не только не говорить, но и не думать.

Порой все как-то притихало; порой бои разгорались. Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы укрепляли свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей - русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Вагаутдинов говорил: «Маленько их пощекотали...» У колхозника Шуйского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. «Стариков жалко,- повторял он, нот где у меня скребет...» У него было мягкое русское лицо, с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска, он тихо повторял: «Бить их!...»

Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова, в прошлом уральского сталевара. Он воевал иступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с трофеями - приносил автоматы, снайперские винтовки. Он говорил подполковнику Самосенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат! У меня немецких шестнадцать штук было - роздал, противно мне из них стрелять...» Подполковник говорил: «Да ты отдохни денек...» Прытков отказывался: «А кто наступать будет?...» Он жил одним. После контузии он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы: «Оглох!... Ничего - там услышу!...» (Где «там» - я так и не понял.) Он повторял: «Гады!... Гады!...» А глаза горели, шевелились губы, чувствовался душевный подъем.

Солдат Илья Горев мне сказал: «От них сердце сохнет...» И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу:

мы жили в такой ненависти к фашистам, в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескавшейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года...

Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно - трое детей, она болезненная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились военными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову: «Совести у них нет! Что солдат, что ребенок - для них все одно. Да таких убить мало. А что с ними делать?...» Он замолк, насыпал самосада в клочок газеты (читать не любил) и тихо добавил: «Вот, говорили, магазины у них хорошие, товаров много. А вы объясните, душа у такого есть?...»

Над Мишей Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам - то Светлане, то Леночке. Я записал рассмешившие меня строки:

На фронте нет ни розы, ни Пегаса,
Но фриц наставил много всюду мин.
А я до наступательного часа
С тобой, любовь! С тобой влечу в Берлин!

Он обижался, что ни одно из его произведений не было напечатано в дивизионной газете: «Там признают одни шаблоны. Напиши я про гвардейскую честь, сейчас же тиснут...» И вот этот Миша, когда немцы атаковали, подбил танк. Генерал Чанчибадзе вручил ему Красную Звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови: «А что я, дам танку дорогу?...» Он посвятил стихи об ордене связистке Груше, но их не напечатали.

Еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется, его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парикмахеров, он стриг и брил молча. Никто не понимал, как он пошел за «языком» и дотащил на себе рослого немца; да и он не умел объяснить: «Скучно стало. Ну, и вспомнил разное...» Я не стал допытываться, что он вспомнил; наверно, у него остались в оккупации близкие - он был минчанином. Я только спросил: «Страшно вам было?» Он пожал плечами: «Я когда полз, ничего не чувствовал. Л

может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню - и страшно...»

С американским журналистом Леландом Стоу мы были у генерала П. Г. Чанчибадзе, порывистого, веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич, невозмутимый, произносил цветистые тосты, хотел уложить американца. Леланд Стоу - смелый человек, он был на различных войнах: в Испании, в Норвегии, в Ливии; нить он умел, но не выдержал: «Больше не могу». Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на доньшке и сказал мне: «Вы ему переведите - вот так наши воюют, а так воюют американцы...» Стоу рассмеялся: «В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем...» На следующую ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перепуганный женский голос: «Кто там?» - «Свои». Женщина наспустила, недоверчиво осмотрела. «Я уж думала, не хрицы ли...» (Она говорила вместо «фрицы» - «хрицы».) Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски, она заплакала: «Хрицы!...» Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала: «Чего они сидят у себя? Что нам, подыхать всем?...» Я перевел ее слова Стоу, и он отвернулся: это был не тамада... Проснулся ребенок, заплакал, и женщина его баюкала.

Под Ржевом неожиданно и встретил «испанку» - Эмму Лазаревну Вольф. Она работала по контрпропаганде. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было, и нам казалось, что так всегда будет: полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подросток ее сын; она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитника Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои...

«У меня был товарищ, замечательный командир, отличился в финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали», - рассказывал мне генерал Л. И. Зыгин, человек смелый и хороший. Было это в темную звездную ночь на тихом участке фронта. Мы сидели и палатке на берегу. (Алексей Иванович шутил: «Домик на Волге».) Он размышлял вслух: «Дотянем до конца, тогда все будет по-другому... А то пакости много. Вот напечатали в «Правде» пьесу «Фронт». Все правильно. Только почему поздно спохватились? Сколько невинных загубили! А подхалимов на высокие места

расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все,- труса праздновал... Как по-вашему - Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает, обманывали его, говорили: подготовка блестящая... Теперь-то он не может не видеть... Говорит он правильно. Но кто должен выполнять? Все те же...»

Мысли генерала Зыгин а тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом, оно у меня сохранилось: «У меня пропали жена, ребенок (говорю, как о вещи, «пропали» - люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей). Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы... Никогда я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь... Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска... Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и кого следует жестоко высечь за нерадивость или жульничество... Возможно, печать старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка, ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика! Сталин бьет в набат. Газеты не преминут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кампанию. Успокоить себя и других прежде даже, чем кончится «историческая» кампания. Они ведь кричали: «Не забывайте мудрых исторических слов сверх гениальнейшего (это обязательно, хотя в этом меньше всего надобности) Сталина. Но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и т. д.» Это же самоубийство!... В общем, многое мы делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит...»

Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не знаю, дожил ли капитан М. Шестопал до наших дней. Да и о многих других мне ничего не известно. Я писал в те годы:

Слов мы боимся, и все же прощай!
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто...

Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске...

Маленькая разодранная записная книжка; многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой: «Пережать жене Кокорина, что он жив и воюет» - и номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокориным, даже не помню, где его встретил, кажется, в редакции армейской газеты, а наверно, говорили мы по душам - у ржевского леса...

Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты «Гётеборгс хандельстиднинг», а год спустя узнал от А. М. Коллонтай, которая была нашим послом в Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне.

Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году, на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой, одета была так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу,- личное счастье, для которого создан человек, немислимо без всеобщего счастья.

А познакомился я с Александрой Михайловной только двадцать лет спустя в Осло, где она была полпредом. Хотя ей было под шестьдесят, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказывалась и в манере поспорить, и в мечтаниях - было это в 1929 году, когда еще легко было и спорить, и мечтать. Меня поразила ее популярность - многие встречные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге.

Александра Михайловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Домонтовича, ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было восемнадцать лет, когда она вышла замуж за инженера Коллонтая, от которого вскоре ушла: семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности: нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Коллонтай пришлось уехать за границу. (Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это

облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшебадене на даче у шведского актера Карла Герхарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. «Другой такой умницы я не встречал,- восклицал он, обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Коллонтай обладала огромным тактом...»)

В 1914 году немцы посадили Коллонтай в тюрьму за антимилиитаристические выступления. Потом она уехала в Швецию, и нейтральное, казалось бы миролюбивое, правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Коллонтай пришлось уехать в Канаду.

У Александры Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарища Коллонтай, которая уехала в Петроград, в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар Временного правительства князь Белосельский, он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Коллонтай назначили наркомом государственного призрения, она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, готовила декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был написан Александрой Михайловной, в нем, конечно, не было ни «матерей-одиночек», ни «внебрачных детей». С 1922 года по 1946-й Коллонтай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции.

Почему я увлекся послужным списком, биографией, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? Шестьдесят лет Коллонтай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах. Обидно это сказать, но у нас плохо помнят хороших людей.

Меня подкупал естественный демократизм Александры Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с чопорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала: «Это мой личный секретарь». Обедали в посольстве все вместе - сотрудники, шоферы, работница. Коллонтай обладала даром воспитывать, и много молодых людей,

работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием.

В 1929 году она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве, ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев, ей нравился Ван Гог. В 1933 году мы разговорились о литературе. Александра Михайловна удивлялась: «Прислали мне два новых романа. Ну зачем эти пай-мальчики? После Толстого, Достоевского, Чехова... Да так можно отучить читать».

В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Паленсию, оживилась, когда Паленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях: «Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно...» Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: «Как дома?» И поспешно добавила: «Можете не отвечать - я знаю...» Когда мы расставались, она сказала: «Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве...»

У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны, писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе: «Работаю я очень много, и дела большие», - такой у нее был характер.

Я бывал у Александры Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжала работать. С нею советовались сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков - хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить, Умерла она восьмидесяти лет от роду.

Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политике. Швеция, как известно, во второй мировой войне оставалась нейтральной; однако правительство разрешило Гитлеру провозить через шведскую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрепя сердце мирились, третьи возмущались.

Газета «Гётеборгс хандельстиднинг» была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев.

ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел предупредил шведов, что «статьи Эренбурга в гётеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия».

Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа - «Стокгольме тиднинген», «Гётеборгс морген», «Афтонбладет» и другие. Особенно образно выражалась «Дагспостен»: «Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы».

Господин Тегиер, редактор распространенной спортивной газеты «Идроттсбладет», бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими ужасающими вещами.

Статьи, которые печатала гётеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и «Франкфуртер цейтунг» писала, что «все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору». Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о «свирепости русского медведя» и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию.

Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андере Эрне. Он опубликовал статью «Илья Эренбург в Швеции», в которой писал: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армия в донских степях истекала кровью.

В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвил्यान» было напечатано следующее: «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом».

Редактор «Гётеборгс хандольстидинг» профессор Сегерстедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты; А. М. Коллонтай писала мне: «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят...»

В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андворда. Он зажигал камин, угощал вином, был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоминали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне: «Не обращайтесь внимания на директора почты. Он директор, и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди. Они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно...»

Пять лет спустя после конца войны и попал в Швецию. Был я и в Гётеборге, и в газете «Гётеборгс хандельстиднинг» (не было там уже профессора Сегерстедта) напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился: я уже задолго до этого понял, что там, где все решает политика, память обременительный предрассудок.

Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Мэром, со многими другими. Я понял, что норвежский посол был прав: в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали А. М. Коллонтай.

Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный театральный зал; освещают только сцену. А на сцене появляются актеру, исчезают - все зависит от событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подходил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сняли с афиши: красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но вставлять свои реплики не в их возможностях. А когда норой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр...

Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути: вместе с фотокорреспондентом «Красной звезды» С.И. Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое: ясно, что произошел перелом, прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места - победа обеспечена.

Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы добрались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым светом снежное поле, трупы, искромсанные снарядами, расплюснутые танками. Мы постояли и ушли в избу.

Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходившие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, «опели», «ситроены», «фиаты», на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванными боками, штабные бумаги, куски туловищ, походные кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфели, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длиннущими ресницами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег.

Зрелище убитого поражает даже на войне - невольно задумываешься: откуда он родом, зачем пришел, кого оставил, и в этом чувстве нечто человеческое. Но в Касторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдата. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума, а снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами - макет давно исчезнувшего мира.

Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи тридцать километров. «Бью и с ног валюсь - засыпаю...» Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. «Ну что тут поделаешь? Окружили-то мы их, а я пляжу - кругом

фрицы... Даже не знаю, как это мне и голову пришло, наверно, с перепугу, схватил одного за руку, говорю: «Молодец, что сдаешься, гут, очень гут...» А они руки подняли...»

У меня записано: «Старшина Корявцев попал в ледяную воду. Командир роты говорил: «Иди в дом - простынешь». А старшина отвечал: «Мне и не холодно - злоба отогревает...»

У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый - седая щетина. Он усмехался: «Говорят, «еврейское счастье», а вы посмотрите - мне действительно повезло: три пальца оторвало, а два осталось, и те, что надо, могу продолжать. Я вам признаюсь: есть желание дойти до Чернигова...»

Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зинскером. Это был немолодой и неглупый человек. Вначале он мне сказал: «Я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить - он стоит тою, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость - это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым, опытным командирам... Конечно, искоренение коммунизма или ликвидация евреев входят в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится - война есть война. По видите ли, насилия, грабежи способны развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не плавное...» Он замолчал и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался: «Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штроиа были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая истории!... Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельников а, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любят получать подобную информацию: опасно доложить фюреру - имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций... Следовательно, службу информации можно переименовать: мы занимаемся скорей дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот-генерала Кейтеля, Кейтель - фюрера. Цепочка, на ней Германию тащат в пропасть...»

Мы пробирались дальше, и в Щигры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером, долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец нас впустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку - хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал; я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она заплакала: вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже; он летчик, последнее письмо она получила в начале войны; спрашивала меня, как его разыскать,- номер полевой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его вождлений - консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила: «У нас много всего - немцы побросали, а мы вечером подобрали...» Я спросил, как держались немцы. Она сказала: «Сами знаете - разве это люди? Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил...» Мальчик ее перебил: «Мама, дядя Отто каждый день приходил, он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела: «Не выдумывай глупостей!...» Мальчик упрямо повторил: «Я не придумываю. Дядя Отто обещал принести домик из шоколада...» Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал: «Не бойтесь, я не расскажу», - и вышел. (Эта сцена мне запомнилась; в романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о «дяде Отто».)

Полковник мне сказал, что задержали предателя - «полицая». В маленькой комнате сидел человек лет тридцати пяти. Он приподнял голову и поглядел на меня тусклыми, водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в Щиграх «курсы для полицейских». Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулиигу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. «Безмозглость... Я никогда не отличался практичностью...» Он начал

всхлипывать: «Струсил, а теперь свои бьют...» Минуту спустя он вдруг осмелел: «Нет, вы скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали «курсы» - я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить - я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинудись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы...»

В городке оставались деревянные домики: хорошие дома немцы, перед тем как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище - длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом: партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли пятьдесят заложников, а весной на площади повесили шесть женщин - за связь с партизанами. Когда их вели на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумяненную девицу, крикнула: «Стыдно быть немецкой подстилкой...» (В «Буре» я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов:

Вы прически сделали под немецких куколок,
Красками намазались, вертитесь юлой,
А вернутся соколы - не помогут локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.)
Замучили братьев Русановых...

Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Косарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу; а когда встали, поле было в больших черных пятнах.

Началась сильная вьюга. Водитель ругался, каждые сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать,- дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться - было четыре часа. Еды у пас не было, мы мерзли. Мотор заглох. Одет я был, скорее, плохо: шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что, как только рассветет, пойдет искать жилье. А водитель и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо; в общем, я замерзал.

Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное - задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы - Корнейчук, В. Л. Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четырех тысяч метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался - оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно.

А вот ночь между Коса ржей и Золотухиной я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось! Кажется, в жизни я не испытывал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел при- мириться с судьбой, хотел нас спасти. Чуть рассвело, он сказал: «Иду». Я ответил, что это глупо; поглядел - он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался.

Майор дал мне стакан водки; я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натошак, в обычном состоянии я лежал бы под столом; а тут мы закусили и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск.

(Летом 1962-го после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что мао-мао не племя, а партия, мой сосед Н. И. Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро.)

Мне передали папку, на ней значится: «О пребывании на фронте Ильи Эренбурга. В деле подшито и пронумеровано 35 листов. Начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года». В папке - сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым: «Прибыли в «Топаз», выезжаем в части», «Прибыли в «Прожектор», «Выехали в

хозяйство Черняховского». Телеграммы адресованы в «Бархат» - так называлась Москва. «Прожектор», «Закал», «Топаз», «Кадмий» - были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов всполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генералам Черняховскому, Пухову, корреспондентам «Красной звезды» - полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резонно отвечал: «Очевидно, Эренбург застрял в пути, вот уже четыре дня сильная метель, дороги для проезда непригодны». Но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже всполошил Любу и успокоился, только получив телеграмму: «Прибыли Курск штаб 60 армии».

В Курске я сел за статью - впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете.

Немцы пробыли в Курске пятнадцать месяцев, там я увидел, что такое «новый порядок», о котором писали «Курские известия», выходящие при оккупантах. Я разглядывал людей то оцепеневших, то возбужденных и говоривших без умолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смялковский; я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марселлу; голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру.

Открыли несколько предприятий - трикотажную фабрику, кожевенный завод, мельницу. Процветали комиссионные магазины, но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком - он донес, что в подвале прячутся две старухи-еврейки, вошел и доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре сульфазолом, выпив, он говорил: «А все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы - бандиты. Но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девчонкам чулки?...»

Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все: «Я вам доверяю: я читала ваш роман про любовь, не помню названия, какая-то француженка... Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски. Но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыхала таких слов. Вот и растрогалась... А теперь - расплата...» Она жадно глядела на меня - искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм «Хиросима - моя любовь»: молоденькая француженка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата; немцев прогнали, над девушкой издеваются, бьют ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героиню фильма. Я долго думал о «странностях любви». Почему же не нашлось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб; ее отправили рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу - Привалову, немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, и сиделки сказали немцам, что он умер. А других убили в предместье Щетинки. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызения совести, даже терзаться, кто его знает? Но мне тогда было не до «странностей любви».

Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой воде; записал: «Зоя - вот комсомолка!» (Потом я иногда получал от нее письма, мы разговаривали не больше часа, а она осталась в моей памяти человеком, душевно близким.)

Я повидал и других смелых, благородных людей, но не скрою: мне было тяжело, Я знал, что население узнало всю меру страданий - нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно поэтому приметы благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер?

Чем торговал тот румяный рыжеусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов, видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было - они сражались в нашей армии. Непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым», - сказала мне старая женщина в Орле. (Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца - об этом потом мне рассказали в горсовете.) Курск я особенно хорошо запомнил потому, что он был первым освобожденным городом, который я увидел.

В Курске я познакомился с генералом И. Д. Черняховским. Он поразил меня молодостью; ему было тридцать шесть лет; порывистый, веселый, высокий, он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне непохожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на «парадоксальное положение» - «русские ударяют с запада, и мы порой вынуждены прорываться на восток», Иван Данилович говорил: «В общем, они забыли свою же теорию «клещей». Мы у них кое-чему научились...» Будучи танкистом, он, однако, говорил: «Танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это, скорее, конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я, скорее, верю в утопический роман Уэллса, чем в размышления де Голля, Гудериана или наших танкистов. Учишься, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины...» При следующей встрече он говорил о роли случайности: «Я не знаю, какую роль сыграл насморк Наполеона во время решающей битвы. Об этом слишком много писали... Но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории, конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться...»

Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухова, он говорил о Сталине: «Вот вам диалектика - не теория, а живой пример. Понять его невозможно. Остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа окажется такой клубок противоречий...»

Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбывным весельем, которым

одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать:

Нас водила молодость

В сабельный поход...

Смеялся: «Если разобраться, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории... Багрицкий, говорят, любил птиц. Но вы знаете, в Умани один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают - тоже поэзия...»

Мне пришлось потом беседовать о Черняховском с военными, которые его хорошо знали. Они видели его совсем другим, чем я. Видимо, с разными людьми он говорил по-разному - был сложным. На войне ему неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945 года я был в Восточной Пруссии, в городке Барнштейне. Черняховский позвонил в штаб армии, а звал меня к себе: «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору...» Три дня спустя он был убит.

Других генералов я встречал потом в Верховном Совете, на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит или пишет мемуары. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым; под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями...

Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка (бои на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя). Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традициях гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в избе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат, разувшись, он бубнил: «Идти да идти... Ноги по колени оттопаем... А письмо я вчера получил, бог ты мой!...» Я заснул, так и не дослушав, о чем было письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал таких писем?...

С К. А. Уманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице «Москва», что я, и мы встречались чуть ли не каждый день (вернее сказать, каждую ночь; я поздно приезжал из «Красной звезды» - в два, иногда в три часа ночи. Константин Александрович в то же время возвращался из Наркоминдела: Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку). В июне 1943 года К. А. Уманский уехал в Мексику, и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное, и хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пуд.

Я сейчас задумался: почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встречался; я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего, я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многое предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло: но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами: они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом: он так и не понял, почему за него заступился «штафирка» Эмиль Золя. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов.

С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом - время было неподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников,

привлекавших к себе внимание в первые годы революции,- Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он увлекался конструктивизмом, и, наверное, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», и встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда» начал работать в «Известиях», он был заведующим отделом печати Наркоминдела, дружил с Кольцовым, не сомневаюсь, что я его встречал,- в Куйбышеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым.

Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись, все его увлекало - и симфонии Шостаковича, и концерты Рахманинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет «мыслящих машин». В его номере на пятом этаже гостиницы «Москва» я встречал адмирала Исакова, писателя Е. Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновского. С разными людьми он разговаривал о разном - не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни.

Говорят, что эрудиция связана с памятью: теперь на Западе в моде состязания - человеку ставят публично неожиданные вопросы: в котором году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисление и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающихся провожают смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не значит, что их можно назвать просвещенными. Память у Константина Александровича была редкостная, но запоминал он то, что его интересовало; в его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски; вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал: «Через полгода я буду говорить по-испански», - и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком.

Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы. (Хотя в конце сороковых годов на пост посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать, очевидно считая, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше.) Но Уманский не только потому быстро овладевал языками, что отдавался своей работе, нет, ему хотелось свободно беседовать с Пабло Нерудой, с Жаном Ришаром Блоком, с Анной Зегерс, читать в подлиннике Поля Валери, Брехта, Мачадо.

Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задыхаться. Иногда он не выдерживал, говорил: «Снова неприятности: я предложил отступить от шаблона - и влетело... Первая страна социализма, а пуще всего боятся «новшеств», инициативы...» Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся - вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

Об американцах он говорил: «Способные дети. Порой умиляешься, порой невыносимо... Европа разорена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу: зачем жесть, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите... Не судите об американской политике по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии...»

Как-то он сказал мне: «Моего «босса» рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького,- должны нравиться... Удивительно не то, что они ничего не смыслят в искусстве, это скорее естественно: искусство не их дело. Плохо, что каждый из них считает себя знатоком».

В другой раз мы говорили о Пикассо (Константин Александрович его очень любил); он сказал: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома, который не знает английскую языка, он скажет: «Галиматья, сумбур вместо поэзии». Помните слова Сталина об опоре

Шостаковича?... Л еще есть Жданов... Все, чего они не понимают, для них заумь. А их вкусы обязательны для всех».

Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманский, говоря о новом после Мексики в Москве Бассольсе, просит: «Вам стоит уделить ему время и не дать ему «скиснуть» в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на латиноамериканские, европейские и прочие темы доставят вам то же истинное удовольствие, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуренито». В другом он пишет: «Посылаю вам каталог-монографию Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные сюда из США, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода».

Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай - человека, которому было тридцать семь лет, назначили на ответственный пост посла в Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы - с 1936 по 1940-й. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил И. А. Гнедин, человек умный, знающий, автор книги памфлетов, и Гнедния посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался: новый мир, новые люди - он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. (Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его суждениям.)

И вдруг все изменилось: с неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился; узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. (Я знал, что есть у него в жизни большое чувство,

что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».) И вот неожиданно разыгралась драма...

Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне, Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками.

Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена, Раиса Михайловна, уезжала почти в бессознательном состоянии.

Год спустя Уманский писал мне: «...Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М.- инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницей и дали мне некоторые правильные советы, которых я - увы - не послушался»... Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, обнадежить, не помню.

В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было сорок два года.

На траурном собрании в Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и самый крупный писатель Мексики Альфонсо Рейес, актриса Долорес де Рио; одна мексиканская поэтесса издала «Оду Константину Уманскому». Видно, люди искусства и там почувствовали в нем своего...

Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя? Это звучит кощунством, но если я представляю себе его в 1962 году, то уж никак не в 1952-м. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли «литвиновскими», но по формации, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались не у дел, как ближайший друг Уманского Б. П. Штейн, или были отправлены Берией далече, как Е. В. Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в пей не представляю. Еще меньше я его представляю в 1949 году - в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним случилось бы дальше: в дело вмешалась судьба - несчастный случай или диверсия - отказал мотор, отказала любимица Константина Александровича - жизнь.

Говорят: глубокая ночь, глубокая осень; вспоминая 1943 год, мне хочется сказать: глубокая война. Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменилось - началось освобождение нашей земли от захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались перейти в наступление. Их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб: «До Берлина 1958 километров». Было это в сердце России, немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону.

Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так: люди и годы это жизнь, моя жизнь, одна из очень многих. Год войны были длинными. Никогда ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал, в блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие реплики, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины, но не помню, кто мне сказал: «Злоба сердце выгрызла»; не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил: «Старший лейтенант войдет с нами в Киев»; не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я, вдруг отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой: «Да ты не плачь, не то я заплачу...» Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тине машины, санбаты, наспех вырытые могилы - все это сливается в одно: стояла глубокая война.

Если бы я писал сейчас роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных людей, окрестить их, разместить в Брянских лесах или на другом берегу Десны, но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связный вымысел может показаться правдоподобное разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и

малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события,- ничего не поделаешь, я ограничен памятью, а у памяти свои законы, человек не знает, почему ему запомнилось одно и почему он запомнил другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит беллетрист, заполняя бреши увлекательными новеллами, есть и другие - автор прочитывает много книг, старается объективно установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верную картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил.

(У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные: был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, рвения деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы.)

В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой, никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки; порой я набредал на подбитые немецкие - новинки того сезона «тигры», «фердинанды». Штаб генерала И. Х. Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами беседками. Кругом было много деревень, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами; все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили люди- В книжке названия: Льгово, Кудрявец, Стайки, Бояновичи, Пеневичи, Хвастовичи...

Осенью я увидел Украину: Глухов, Клишки, Чаплеевка, Обтов, Короп, Понорница, Коробковка, Щорс, Городня, Добрянка; кусок Белоруссии: Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горноостаевка, Тереховка, Тереха; снова Украина: Красиловка, Козелец, Остер, Летки, Бровары, Богдановичи, Семиполки; правый берег Днепра: Жары, Лютеж...

Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат, как стихи: в них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с подвигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались «населенными пунктами».

Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большущими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин

Сталинграда; хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию: «А мы их в клещи, мы теперь ученые...» Младший лейтенант Ионсян говорил: «Он, подлец, до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался - я ведь бакинец. А я вам откровенно скажу: я его и тогда презирал...» Танкист Красцов мне сказал: «Галей ее зовут. Вот фото - ничего особенного, а по-моему, исключительная. Может быть, она про меня забыла - не знаю. Я из Пскова, говорили, будто успела выбраться, а как ее найдешь?... Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять. Что я такое? Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорей всего, убьют, воюю с начала, два раза был ранен - выкарабкался. В общем, это не главное... У меня такое в голове, что смешно сказать, будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин...»

Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл Сож?

Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с В. С. Гроссманом мы просидели полночи у генерала С. С. Мартиросяна. Он поразил нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте; приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил: «Вот идешь и попадаешь на такого человека...» В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь: у каждого свое дело, свой дом, своя скорлупа. А на войне все путается: люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял. (Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне, что он вышел в отставку и живет в Ереване.)

Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года, по просьбе танкистов-комсомольцев, командир первого батальона Четвертой гвардейской бригады полковник Бибииков зачислил меня «почетным красноармейцем» в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкистами-тацинцами, особенно со старшиной И. В. Чмилем и лейтенантом А. М. Баренбойм ом. Встречался я с тациниями и в Белоруссии, был у командира корпуса генерала А. С. Бурдейного, он меня познакомил со многими бойцами,

бывали тацинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году И. В. Чмиль писал: «Я еще молод, год рождения 1918, родом я из славной и любимой Полтавщины, с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил. Подумаешь - и обидно становится: как мы жили счастливо и весело! У меня было четыре сестренки, все меньше меня. У меня были папаша и мамаша. У меня была любимая девушка...» Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контужен, несколько раз выбирался из горящих танков - словом, хлебнул горя. После войны он женился, учился в техникуме, теперь он в городе Шауляй сотрудник горфинотдела, жена его Антонина Васильевна работает на энидемстанции. У них трое детей: Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне: «...Да, никому не хочется снова пережить ужасы войны - обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире черные силы. Неужто мне еще придется сесть за рычаг Т-34?...»

А. М. Баренбойм работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. И. В. Чмиль мне написал: «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбойм погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Баренбойм жив, послал адрес и получил вскоре письмо: «Саша - это любимец и герой всего нашего корпуса, любимец всего личного состава. Оказалось чудо: он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу богу, но выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб...» Мне трудно объяснить, почему меня так радуют письма Ивана Васильевича и Александра Менделевича; ведь встречался я с ними редко, но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто.

Обрадовался я и письму снайпера Г. Н. Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны Гавриил Никифорович бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пилорамщиком. «Стала болеть раненая нога. А работать надо. У меня четыре иждивенца... В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и

ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался... Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, лома, среди семьи. Бот если бы вы приехали ко мне в гости...»

Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любованье. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью.

В селе Богдановичи остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала,- видно солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку.

В Козельце женщина рассказывала: «Сколько Шура было? Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца: «Дяденька, не убивай! Я жить хочу. Пошли лучше в Германию». Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал - застрелил...» В маленьком Козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек.

Возле Триполья, на дороге в Обухов, я видел яр и дощечку: «Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и расстреляно 700 человек - стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Мария Билых с пятью детьми и 65-летней матерью и Горбаха Дуня с двумя сыновьями».

Житель Пирятина П. Л. Чепурченко рассказывал, как его пригнали рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу шестьсот евреев. Чепурченко вдруг услышал - его окликали. Среди трупов был Рудерман, ездовой валенной фабрики: лицо у него было в крови, один глаз вытек, он просил: «Добей меня!...» «Живыми зарывали, земля ходила», - рассказывала женщина.

Я видел предателя - старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал: «Зря народ волнуется. Сами сказали: «Иди в старосты». А что я плохого сделал? Давал характеристики, и только. Пальцем никого не тронул...»

Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала: «Ослепла коровушка! Не может она... Идет, а не видит. Да и и надорвалась, пляжу и не вижу. Да разве

можно так жить?» У коровы были очень ясные, спокойные глаза, а на спине большая плешь.

«Теперь легче будет - наша берет,- рассуждал старик,- на покрова малина - это на жизнь...» На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия: «Пять часов стою, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских нема ничего...»

Я сидел ночью у Сожа. Немцы бомбили мост восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил понтонеров Эбро: там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального, не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного: даже смерть представляют буднично. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, «а тут немец путается, мешает».

В Чернигове было тихо. На земле валялись каштаны, похожие на полированные камешки, и я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими «камешками». Разрушенный дом, осталась только мемориальная доска: здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку.

В Васильевке из шестисот дворов уцелели тридцать. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали тридцать семь человек и убили, убили глубокого старика С. К- Полонского и тринадцатилетнего Адама Филимонова. Жена одного из расстрелянных говорила: «Ты напиши - жить мы не сможем - душа не выдержит...» «Факельщики» жгли за селом село, клали солому, не жалели горючего - жгли не от злобы, а деловито выполняли приказ. Сожгли Тереховку. Колхозницы поймали одного «факельщика» - он залез в скирд, закололи вилами.

У одного старосты нашли список расстрелянных, в списке: «Музаевская Римма Николаевна трех лет, Давыдов Виктор Михайлович одного года».

Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороду тербил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать - и вдруг закричала. До сих пор слышу этот крик... В Корючкове

священник пошел к немцам с крестом - просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадьей.

Вот еще рассказ, записанный в книжечке: «Она, конечно, чужая, одни говорили, будто еврейка, другие - что с партизанами дружила, одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дите, и она дите хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили, а дите живое, ползает. Мы просили: «Дай дите». А один немец молодой выбежал, схватил и головкой о камень...»

Глухов, Козелец немцы, уходя, не успели сжечь, сожгли потом с воздуха.

Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся: «Ничего, дострою... Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатки. Мужьев у них поубивали, а жить нужно...»

Белел песок. Фотокорреспондент Кнорринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат: «Дождался - днепровская вода, такой другой нет...» Вечером мне рассказали, что он погиб - только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу.

Боюсь, эти несвязные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны. В 1943 году я два или три ходил на собрание московских писателей. Люди, приставленные к литературе, тогда требовали «монументальных полотен»: искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания, а во время войны было не до строительства, и вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали.

Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать литературу, а ее отстоять язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой - каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать, приходили бойцы, говорили: «Почему про Осипова нет? Когда паром затонул, он выручил». «Напишите про

Хакимова - может, родные прочитают». «Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова, он вырежет, матери пошлет».

Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира - случайный эпизод, что никакие «тигры» не спасут Гитлера. Изю дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов: того требовали не только бойцы, но и совесть.

Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был, но в них нет ничего о моей личной жизни: я писал о том, чем жили тогда все - о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве.

Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и похожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении, было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаяние, надежды.

Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. Еще тлели головни; бродила женщина; мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом...

Я запомню, как последний дар,
Этот сердце ледящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла горестную тень.
Запах гари елок, как беда,
Не отвяжется он никогда.
Он со мной, как пепел деревень.
Как белесая больная тень.
Как тифозной бредовой беде
Красные и черные скирды.
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.

Мне было за пятьдесят; я невольно вспоминал первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картин и чувств.

...Мой век был шумным, люди быстро гасли,
А выпадала тихая весна -
Она пугала видимостью счастья.
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?...

1943-й не походил на 1941-й - понемногу всё становилось привычным: разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмотреться, даже к войне, сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое?

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалею на свой удел,
Я бы только увидеть хотел
День один, обыкновенный день.
Чтобы деревья густая тень
Ничего не значила, томна,
Кроме лета, тишины и сна.

Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья; я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине:

Был час один - душа ослабла:
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.
Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого восьмистишия, уговаривал меня изменить последнюю строку: «Почему «и»? Хороню, не сберегли искусство, но сберегли другое...» Да, но и много, очень много потеряли. Почему и вспомнил про искусство? Да потому, что яблоню нужно вывести, вырастить, это не

дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла.

Кто знает, как мы ненавидели войну! А другого не было: фашисты несли с собой днкость, зверства, культ силы, смерть. Народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди родились не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал (это было вскоре после того, как я увидел виселицу, бородатого предателя):

Скажи, здесь тоже жизнь была,
Дома в горячей зелени?
Молчат и небо, и зола,
И картузы расстрелянных.
И лишь повешенный суров,
Как некий важный маятник.
Отмеривая ход часов,
Без устали качается.

Точнее всего я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо связанном с причитаниями колхозницы над коровой:

По рытвинам, среди мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми - мне жаль не слов - слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

В Козельце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек - хотел что-то вылепить. На его лице были то напряжение, то слабая, туманная улыбка. Я долго стоял возле него. Никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня.

Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади Козельца:

Были липы, люди, купола.

Мусор. Битое стекло. Зола.

Но смотри - среди разбитых плит

Уж младенец выполз и сидит,

И сжимает слабая рука

Горсть сырого теплого песка.

Что он вылепит? Какие сны?

А года чернеют, сожжены.

Вот и вечер. Нам идти пора.

Грустная и страстная игра.

Вернусь к строке, приведенной выше: мне казалось, что я освободился от того, что назвал «высокими заблуждениями». Это было еще Одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, о которой написал А. Солженицын, ни «убийц в белых халатах» - тех лет, когда народ, разбивший в бою расистов, увидел, как всерьез переименовывают сыры или пирожные и как мимоходом губят людей. Но разве это мерещилось малышу в Козельце, когда он смутно улыбался? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть двадцать два или двадцать три года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть другой. А сын Чмиля, Игорь Иванович, которому нет и пятнадцати лет... Тащить на гору камень, чтоб он оттуда скатывался? Нет, с этим не мирится совесть! И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, и отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни - человек со всем может расстаться, только не с надеждой,

Седьмого ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием; собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты - словом, все те, кого парикмахер Клуба писателей называл «тузами и шишками». Оглядев зал, П. П. Кончаловский шепнул мне: «Напоминает холст Эдуара Мане»... Советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры. Военные атташе различных посольств сверкали золотом. Груды генералов изнемогали от орденов. Гарро неистово размахивал фалдами фрака и, выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать об интригах англичан в Алжире: «К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых...» Английский посол Керр, забыв о присущей ему чопорности, со всеми чокался «за победу», пил водку и вскоре стал походить, скорее, на советского писателя, чем на британского дипломата. С. А. Лозовский обнимал генерала Пети: «Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну. Мы их расколотим». «On va battre les Fritzs a Minsk et a Biarritz» («Фрицев побьют в Минске и в Биаррице»). Генерал прослезился. А. Н. Толстой явился во фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов: «Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит месье»... И. С. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего позуменами, сказала: «Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый?...» Американский журналист Шапиро говорил: «Впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит союз!...»

Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки: освобожден Киев. Союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось Московское совещание министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали

крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья «все же нечто вроде второго фронта».

Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции «Красной звезды» кто-то спросил, не дать ли географическую справку о Сицилии, редактор возмутился: «Совершенно ни к чему...» После сообщения, что второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы ТАСС, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан - дружба дружбой, а политика политикой.

Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны; в день рождения Черчилля ему поднесли пирог о, шестьюдесятью девятью свечами - по числу прожитых лет. (На праздничном пироге прибавилось всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла «холодная война».) Мы, конечно, не знали будущего. Но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий: мы жили одним - остановить врага. А начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули созвездия первого салюта, я начал присматриваться, задумываться.

Еще летом из Лондона вернулся И. М. Майский. Я обрадовался подаркам - лезвиям для бритвы, записной книжке, вечной ручке, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гитлера - боятся Красной Армии. Майский рассказывал мне, что с де Голлем англичане не считаются.

В конце года С. М. Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии.

(Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в Петербурге, прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считая, что грохот орудий связан с неприятностями; как только радио передавало позывные, он начинал неистово выть. На такую сцену однажды попал Верт и сказал: «Теперь я вижу, что это действительно английская собака - боится советских побед».)

В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол Керр держался чрезвычайно светски, спрашивал Любу: «Вы, конечно, прустиянка?» - и добавлял: «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара.

В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов, меня удивили и невкусная еда, и простота, порой переходящая в фамильярность, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют «военной тайной». Я понял, что ценитель литературы - разведчик, и быстро его оборвал: «Я не военный, а писатель, вернемся лучше к Честертону».

О вечере у Гарримана я рассказал Лозовскому; он нахмурился: «Лучше, когда нас приглашают в посольства, спрашивайте... А к американцам вообще не стоит ходить».

Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллесами сообщал, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски, говорил о добрых чувствах к советскому народу; его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью.

Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для «Красной звезды»,

«Правды», для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее: что-то изменилось. Я это почувствовал на себе.

Летом Совинформбюро попросило меня написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить третий рейх. Один из помощников А. С. Щербакова - Кондаков - забраковал мой текст, сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии: «Это бахвальство». Я счел слова Кондакова далекими от того, что мы называем интернационализмом, и написал А. С. Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в ПУРе. Разговор был длинным и тяжелым для обоих. Щербаков сказал, что Кондаков «переусердствовал», но в моей статье нужно кое-что снять я должен понять ситуацию, «настроения русских людей». Я ответил, что русские бывали разными - Горький или Короленко рассуждали иначе, чем Пуришкевич. Щербаков рассердился, но перевел разговор на другую, пожалуй, смежную тему; он похвалил мои статьи и вместе с тем покритиковал: «Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейне... Бородино теперь ближе, чем Парижская Коммуна». Я заговорил о судьбе Лидина: с первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно ответил: «Не умеет писать для народа». (Потом я узнал, что одна из корреспонденции Лидина рассердила Сталина.) А Щербаков усмехнулся: «Вы многого не понимаете. Прислушиваетесь к тому, что скажет Литвинов или Майский. А они оторвались от положения у нас...» Я огрызался и в конце концов сказал: «Теперь война, немцы еще сильны,- значит, я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным». Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся: «Что вы будете делать после победы?» Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. «А я знаю,- сказал Щербаков,- буду трое суток подряд спать». Я поглядел на него: у него было одутловатое, бледное, усталое лицо.

Должна была выйти моя книга «Сто писем» - статьи и письма, полученные от фронтовиков; мне казалось, что в этих письмах раскрывается душа народа. Книгу набрали, сверстали и вдруг запретили. Я спрашивал почему, мне не отвечали; наконец один из работников издательства сказал: «Теперь не сорок первый...»

Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину, и Сельвинского обругали. «Правда» обрушилась на Платонова: «Выкрутасы вместо простоты». Устроили собрание писателей, осудили (разумеется, единодушно) книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зощенко. Новая газетная статья пополнила ряды «вредителей», она была посвящена К. И. Чуковскому, написавшему сказку для детей «Бармалей»: «Пошлые выверты К. Чуковского вызывают отвращение». Е. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон»; он предугадал будущее: рыцарь Ланселот освободил город от дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что жители горюют о «милом Дракоше», который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. «Литература и искусство» писала: «Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом». Обличали Паустовского: в сценарии о жизни Лермонтова: он осмелился сказать, что поэта тяготил мундир николаевской армии. Все это напоминало тридцатые годы. А немцы еще сидели в Орше и обстреливали из орудий Ленинград...

В «Красной звезде» работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года - в редакцию пришли сотрудники ГБ, срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Таленский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. «Кружкова арестовали...» Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. Недавно я встретил П. П. Кружкова, который, разумеется, реабилитирован.

Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего опричнину. С. М. Эйзенштейн, по указанию Сталина, работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. (Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал: смывать...) А. Н. Толстой мне сказал: «Я еще в Ташкенте написал пьесу о Грозном. Конечно, хочется работать над «Петром», но положение такое... Вот побьют Гитлера, тогда кончится вся эта пакость, обязательно кончится».

В конце 1943 года в Магадане вышло издание «Падения Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по

некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена, в 1935 году вернулся в Советский Союз, а в 1937 году был арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты.

Каждый день приносил нововведения. В городских десятилетках ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один педагог доказывал, что мальчиков надо с малых лет обучать военному искусству, а девочек рукоделию. (Вскоре после смерти Сталина раздельное обучение было отменено). Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумают мундиры для поэтов, на погонах будут одна, две или три лиры - в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым.

Напечатали текст нового гимна, в нем прославлялись Сталин, «Великая Русь», Я вспомнил «Интернационал» и задумался.

Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное, будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые ташили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира. Продовольствия было в обрез. Жены ответственных работников обсуждали, кому дали лимит, кому половину, кому - ничего, лимитом назывались карточки, по которым можно было покупать товары в закрытых распределителях на полтора или семьдесят пять рублей. Обыкновенные граждане сокрушались: «Опять не отоварили по карточкам крупу...» Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу: хотели развлечься да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подружку, что Маша перестала писать мужу и сошлась с хромым музыкантом, говорили, конечно, и о

том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет.

В ноябре Шостакович прислал мне записку - просил прослушать его Восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный: вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество: она может, не упоминая ни о чем, сказать все.

В 1943 году впервые показались те тучи, которые пять лет спустя нависли над нами. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимания на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, порой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями.

Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма, - кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились. Но мы верили, что победа принесет справедливость, что восторжествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой и что Берия снова откроет огонь по своим. Пусть мы многого не предугадали, но с нежностью, да и с гордостью я вспоминаю мечты тех лет.

Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом: высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не славословия «гениальнейшему полководцу», не саженные батальные полотна, даже не ордена, а память о ивергнувшихся, неиссякающие слезы - это живая вода народной совести.

В декабре 1943 года умер Ю. Н. Тынянов. Познакомился я с ним еще в двадцатые годы, когда он был одним из вдохновителей «Опояза» - вместе с Б. М. Эйхенбаумом, В. М. Жирмунским и В. Б. Шкловским. Он начал с того, что не создавал литературу, а изучал ее, но изучал настолько вдохновенно, неожиданно, что его книга «Архаисты и новаторы» остается и поворотом в литературоведении, и книгой художника.

Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал: я был самоучкой с огромными провалами в познаниях, которые может дать средняя школа, писал романы с грубейшими ошибками и словесными, и школьными (в «Хулио Хуренито» спутал Этно с Везувием). Вместе с тем я был задорен, искал новую форму романа, отрицал то, что защищал годом раньше, и вот Тынянов, этот воистину «петербуржец» (в старом значении этого слова), неизменно учтивый, даже в злых репликах, - меня стеснял, порой страшил.

Вспоминаю один разговор: Тынянов говорил, что время литературных школ миновало новатор может быть архаистом, и к Пастернаку ближе всего Мандельштам. Меня рассердило, что Юрий Николаевич повторял: «синкопический пеон» - я тогда не знал, что это значит, и постыдился признаться.

Весной 1930 года Юрий Николаевич приехал в Париж больной, его подкашивала редкая и страшная болезнь: рассеянный склероз. Я глядел на Тынянова другими глазами: передо мной был не литературовед, но автор книг, которые были большими событиями в моей жизни. Я не сразу решился написать о нем в книге воспоминаний: я ведь писал не о книгах, а о людях, но потом решил, что нельзя промолчать о человеке, произведения которого мне помогли многое понять.

Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков, герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора. Поэзия в полвека, когда я искал, думал, писал, казалась, да и кажется, мне более значительной, чем проза, требующая большего отступа, но в советское время было написано

немало значительных романов и рассказов. Я встречался со многими писателями, известными еще до революции, с М. Горьким, Буниным, А. Ремизовым, Андреем Белым, А. Н. Толстым, Е. Замятиным, с людьми моего поколения - Фединым, Паустовским, Бабелем, Тыняновым, Зощенко, Вс. Ивановым, Катаевым, Олешей, Леоновым, с теми, кто родился уже в XX веке,- Фадеевым, Шолоховым, Кавериним, Гроссманом. Гейне писал, что каждый человек - это мир, и надгробные памятники высятся над развалинами исчезнувших миров. Задолго до него английский поэт Донн напомнил о связи таких миров: колокол звонит не только по усопшему, но и по тебе. Я любил одни книги, был холоден к другим, но все, что делали мои современники, было связано с моей жизнью. Я не говорю об И. Э. Бабеле - он был моим другом, и я часто вспоминаю о нем, как о своем учителе, но учился я и на книгах других современников. Разобраться в эпохе мне помог Тынянов.

Эти слова могут удивить - Тынянов ведь писал исторические романы и рассказы, причем выбирал эпохи мрачные: Николая Первого, Павла, конец Петра. Он превосходно знал историю и никогда не пытался вразрез правде приписать прошлому что-либо от современною. Он был человеком, сдержанным не только в жизни,- сядясь за рабочий стол, он умел владеть собой, может быть, поэтому его книги казались некоторым суховатыми. Однако никогда не было крупного и притом честного автора, который мог бы хорошо писать о событиях, лежащих вне его душевного мира, о людях ему далеких и чуждых. В романс «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянов писал: «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее. И уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы».

Юрий Николаевич любил шутить, говорить о пустяках, стойко боролся против болезни, но был он человеком очень грустным, и грусть Грибоедова была для него не страницей истории. Он родился в один год с Бабелем и Пильняком, которые умерли в углах наименее удобных. Тынянов ненадолго их пережил, хотя умер он на своей кровати.

«Подпоручик Кижее» и «Восковая персоне» были нам глубоко понятны. В то же самое время, зная только «Кюхлю», я писал о

приключениях злосчастливого Лазика Ройтшвайца, которого события носили по миру, из города в город, из страны в страну. Однажды ему предложили заняться кролиководством - это было модное в ту пору занятие. Ему послали пару кроликов, но только их выпустили из корзины, как собака их загрызла. Бедный Лазик тотчас написал о своей очередной неудаче, но в ответ пришел запрос, сколько крольчат принесли производители. Лазик понял, что есть люди, для которых всего важнее статистика, и начал подсчитывать, сколько кроликов могло бы быть у него, не будь зловредной собаки. Когда цифра стала внушительной, приехало начальство. Он повторил: «Я же вам писал, что парочку сразу загрызла собака», - но гости отмахивались: «Где же кролики?» Подпоручик Кижэ был куда счастливее - он родился от описки писаря - «подпоручики же», но никто не осмелился признаться в этом Павлу. Царь приказал отправить подпоручика Кижэ в Сибирь. Его не было, но он был, и конвойные гнали его по Владимирке. Павел его помиловал, приказал жениться на придворной фрейлине. В церкви жениха не было, но невесту обвенчали. Павел произвел его в генералы, и вот однажды он позвал его во дворец. Павлу сказали, что генерал Кижэ заболел, в несколько дней он умер. Пустой гроб торжественно похоронили.

Восковая персона была изображением Петра, снабженная пружинами, она могла передвигаться. Ее отправили в кунсткамеру, пружины сломались, и бедная восковая персона оказалась среди различных «натуралей» - младенцев-уродов в спирту.

Тынянов прекрасно знал историю, он умнее многих других разгадывал некоторые черты современности, но то, что мы называем «политическими событиями», его мало волновало. Он приехал в Париж в весну, когда рождался Народный фронт. Я был наивен, ходил на митинги, верил, что теперь фашизму будет нанесен смертельный удар. Юрий Николаевич не спорил, он отвечал «возможно». Он попал в город, который хорошо знал по романам, документам, планам, гравюрам. Ему хотелось побродить по Пале-Рояль, как то делал В. Л. Пушкин, найти место, где выступал с докладом Кюхельбекер, он вспоминал А. И. Тургенева и Вяземского, читал карту вин, как давно знакомый текст: «Мозт... Клико... Ньюи...»

Он и в Париже, где можно бросать окурки на иол, сомневаться в таблице умножения и плевать на все авторитеты, оставался

сдержанным - боялся выдать свое незнание быта, осторожно расспрашивал, как вести себя в кафе. Были в нем мягкость, обаяние, которые всех разоружали.

Потом он сел за «Пушкина». Эта книга, по его словам, должна была ответить на многие трудные вопросы, показать, как разум, гений, гармония победили муштру и невежество. Однажды я спросил его: «А стихи после польского восстания, возмущившие Мицкевича?» Он кивнул головой: «И это...»

Вспоминаю нашу последнюю встречу тревожной весной 1941-го, за три недели до начала войны. Тынянов жил тогда в Пушкине, в писательском доме творчества, на бывшей даче А. Н. Толстого. В саду цвели нарциссы и тюльпаны. Мебель в гостиной была из красного дерева, на стенах висели картины. Все казалось мирным. Юрий Николаевич ласково улыбался. А говорили мы, разумеется, о войне. Помню, Тынянов сказал: «Может быть, в Германии отвратительного вида революция?...» Он все же был воспитан на логике прошлого века: ему представлялось невозможным оглушение большой цивилизованной страны.

А «Пушкина» он не написал, закончил только начало - детство, отрочество поэта. Юрий Николаевич умер, не дожив до пятидесяти лет, а в последние годы болезнь мешала ему работать. Свою разгадку Путница он унес в могилу.

Я часто вспоминал и вспоминаю прекрасный рассказ о мнимомалолетнем и, увы, вполне совершеннолетнем Витушишиикове, который умел одно - бить в барабан. Я порой себя чувствую именно таким недорослем, и за это тоже спасибо Тынянову.

Я был на его похоронах. После Сталинградской победы многое менялось на глазах. Звание и форма определяли положение человека. Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре, и веночки были из бумажных цветов попроще, поскорее.

Я стоял у гроба и думал: мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов...

Для простых смертных все выглядело пристойно: на театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительств антиитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба.

Американцы предпочли де Голлю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили - генерала Жиро. Дс Голль предпочитал себя. Во Франции многие из его сторонников не хотели договориться с партизанами-франтирёрами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Вадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров, в том числе и Вадольо. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу, в Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый ЭАМ. В Лондоне нашло пристанище польское правительство; Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения; возник Союз польских патриотов; в лесах Польши имелись отряды правых - Армии крайовой и левых Гвардии людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно.

Разумеется, я не был посвящен в секреты дипломатов, но по характеру своей работы кое-что знал: меня приглашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных.

Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять все, что мне нравится о Англии,- и Хартию вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественникам, неизменно говорил: «А вот господин Эренбург,

который признает в Англии только трубки, газон и терьеров...» Керр был хорошо воспитанным скептиком, но не позволял себе говорить то, что думал; только однажды на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии он признался: «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?...»

В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого А. Н. Толстой называл «мастером трубочных дел». Янкелевич изготавливал замысловатые трубки и продавал их любителям, его арестовали, кажется, именно за незаконную торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркоминдел решил поднести Черчиллю подарок старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог поблагодарить судьбу или Черчилля. А вот директору фабрики «Ява» приезд английского премьера принес только хлопоты: от него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил: сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто это ракета. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться: «Поздравляю. Вас в особенности...» С чем он меня поздравлял, я не знал, но, в свою очередь, улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем.

Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне: «Вы, кажется, не очень любите англичан?...» Я решил, что Керр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Идеи так думает. Он ответил: «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил: «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение; Идеи поспешно улыбнулся: «Это шутка. Конечно, мы все союзники, и лично я очень люблю французов...»

Впрочем, другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил: «С Францией будет трудно - там больше предателей, чем повсюду». Английский корреспондент Уинтертон признавался: «Лучше без французов...» Уилки доверительно сказал мне: «Роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место».

Естественно, что французы - посол Гарро, советник Шмитлейн, молодой Горе, генерал Пети - частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам: боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Пети; были Торез, Жан Ришар Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое: после первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию Прирейнской области; рассказывал, как союзники восхищались порядком, организацией, как влюблялись в немок; никто не сомневался, что мир обеспечен; а в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза: «У нас теперь одна надежда - русские не допустят повторения!...»

В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел А. Н. Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове - на верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен «мягкий мир», к тому же успел выпить пол-литра.

(С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери - в прошлом ультралевый - по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа остался у нас, писал во французских газетах, выходивших в Лондоне, После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он привязался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и честолюбия, и житейской смекалки, в минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи - для себя, нигде их не печатает.)

Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали - их страны не знали

фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах - у тех были свои расчеты; но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены; армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран.

Вряд ли норвежский посол Андворт восхищался советской системой, но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сибаритом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина; Андворт вспоминал Норвегию, общих друзей, говорил: «Надеюсь, что «фау» образуют англичан. Они хотят с гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известия о расправе с нашими студентами. Вы правы - микстуры не помогут, нужна хирургия...»

Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм, он представлял самую маленькую страну - Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам пришел перебежчик. Полковник сказал мне: «Фриц говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца...» Меня привели к перебежчику. Это был молодой паренек-крестьянин. Он попросил у меня бумаги: «Хочу написать письмо...» Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал: «Ее высочеству великой герцогине Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил свой долг и перешел на сторону Красной Армии...» Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился; он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. (Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в Политехнический,- чуть было его не задушили.) Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым, что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он - председатель Общества дружбы с Советским Союзом; выступает на митингах; все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время.

Бывал я часто у посла Чехословакии Фирлингера. С ним было легко говорить: он понимал, что такое фашизм. Понимала это и его

жена, милая, очень живая француженка.

Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он припомнил наш давний разговор: «Я уже знал, что Чехословакия обречена...» Потом он добавил: «Для нас единственное спасение - в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут придерживаться разных политических убеждений, но в одном они бесспорно сойдутся - Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее».

Ко мне приходили югославы- один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы - сочетание монументальности с движением, нравился и человек - он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов и Серебряном Бору. Там я встретил партизан и партизанок. Они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии,- чувствовался демократизм, прямота. Мне с ними было хорошо.

Иностранцы корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении; я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь, они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были видные журналисты - Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под Ржев. Он знал войну - был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным; написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начиналась «холодная война». Кругом были нарядные коттеджи. Цвели розы. Люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил: «Помните Ржев? Там мне было спокойней. Можно прожить без комфорта, без надежды труднее...»

Конечно, инкорам было нелегко: в газетах было больше статей, чем сообщений; цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник - заведующий отделом печати. После пресс-конференции каждый старался обогнать других и первым прорваться к окошку телеграфа. Бывали драки; однажды американский корреспондент проколол крышку на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф.

Корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро хорошо к нам относился, но ныл: от него требуют сенсаций, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие, окончательно его подкосившее: Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Ассошиэйтед Пресс Кессиди. Шапиро прибежал ко мне потрясенный: «Я тоже посылал вопросы... Ассошиэйтед Пресс правее, чем Юнайтед... Почему Сталин решил меня погубить?...» Успокоить его было невозможно, он и слышать не хотел, что Кессиди просто повезло его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде «утешительного приза» отдел печати МИДа разрешил Шапиро поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись и Москву, он мне сказал: «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения Юнайтед Пресс это не может сравниться с тем, что получил Кессиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Ассошиэйтед Пресс?...» А Кессиди ходил именинником, показывал всем подпись, Сталина и од ответами на вопросы и ухитрился получить в «Арагви» четыре бутылки вина: «Мне пишет Сталин...»

Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел один развязный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люба и, не зная, кто у меня, спросила: «Вы что, продаете сахар?...» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколько дней спустя я рассказал о нем Толстому. Алексей Николаевич захохотал: «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся, понимаешь? Решил сразу отдарить, ничего у меня под рукой не было, отдал самопишущую ручку «ваттермана». Взял, подлец...» Мы долго смеялись. (Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова «американская помощь»...)

О сахаре можно было забыть; но имелись вещи посерьезнее - раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались всё яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии. Развязка приближалась.

Первого июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных французов из «легиона»,

организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы: в 1812 году русские почти окружили армию Наполеона и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми командовал генерал Эбе (о генерале я знал потому, что часто в Париже проходил по улице, названной его именем). А «легионеры» застряли на Березине: они были трусливыми, но жадными наемниками, их остановили чемоданы не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть «все равно как», другой описывал нужду, лишения - «в минуту слабости согласился», третий ссылался на «загадочные пути судьбы», четвертый приговаривал: «Я глубоко штатский человек. В Париже у меня маленький ресторан «А ля флёр де лис». Клиенты всегда меня хвалили. В кулинарии я не ошибался. Другое дело политика...» «Легионеров» поместили вместе с немецкими пленными, среди которых оказалось много эльзасцев. Потом мне рассказали, что эльзасцы ночью избili «легионеров».

Я побывал у летчиков «Нормандии». Французы рассказали, что, когда шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе; каждый раз его задерживали, наконец его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Лиоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку «Нормандия». Над Березиной было его боевое крещение, и вот он погиб... Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии», они посмеялись, сказали с прозрением; «Не думайте, что таких много. Это наши «власовцы»...» Я улыбнулся: твердо верил во Францию.

Да, не скрою, я верил в замечательное будущее - иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе: решат дело не дипломаты, не политиканы, а народы - они-то хлебнули горя. Значит, фашизм будет похоронен навеки.

А инкоров я встретил где-то между Борисовом и Минском. Они были счастливы и потому, что видели победу союзной армии, и потому, что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент «Таймса» - он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдаться, и, увидев

штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатилетний мальчик Алеша Сверчук, тот пригнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент «Таймса», естественно, радовался.

Скажу откровенно: в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска и не думал о том, как решится греческий вопрос, признают ли американцы Тито, что скажет Иден о поляках. Я думал: как пробраться в Минск - вокруг бродили немецкие дивизии.

В Минск я попал 4 июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинную улицу и обрадовался: почти все дома невредимы; четверть часа спустя раздались взрывы, и домов не стало.

Весь день работали саперы - вытаскивали мины; успели снасти большой Дом правительства, некоторые другие дома. Однако, бродя по городу, я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе! За два дня до этого я был у генерала Черняховского; он мне сказал: «Теперь мы не гоним противника - мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на восток от Минска, поэтому трудно было проехать в город - на шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел», - сказал мне один танкист, и я подумал, что война подходит к концу, улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград - это город, который много раз жгли, разрушали; в нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучились, строили, и вот - щебень, обгоревшие развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь - просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка.

(Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета Мира, я застрял в Минске - погода была нелетная. Меня выручил П. У. Бровка - повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, лома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне восхищался ими: люди ужинают, спорят, ревнуют; наверно, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка.)

Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал: мне повезло, хоть в Минск я не опоздал! Генерал Вадимов мне не давал свободы!

Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску, и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество. В 1944 году, уже не будучи редактором «Красной звезды», он писал мне с фронта: «Вспоминаю вас, рассказываю о том, что с вами невозможно ездить на фронт, потому что вы обязательно хотите быть впереди всех, даже впереди боевых порядков». Конечно, это было абсолютно несправедливо, но генерал Вадимов внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года «Красная звезда» послала К. Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену Военного совета 13-й армии генералу Козлову (копию мне недавно дали): «У вас находится Илья Эренбург, в целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал». А вот в Минск я добрался вовремя; да и потом ездил куда хотел - мне удалось исчезнуть; в редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверно, снова предпринял бы розыски.

Черняховский был прав: Минск наши армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытаясь прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона, майора, в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал: «Фрицы у вас замечательно получают, наверно, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишете, как вы разыскиваете, кого описать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или приходится выдумывать?...» Я не успел ответить - раздалась дробь пулеметов: огонь открыл немецкий полк, пытаясь прорваться на запад.

Я поехал на запад, в Раков, в Ивенец, и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу: окруженные немцы, изголодавшись, напали на хлебный завод.

Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит: «Я немец, а не дерьмо...» Один

немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне: «Конечно, в данный момент преимущество на вашей стороне - Германии вынуждена сражаться на двух фронтах. Но вы должны признать, что танковые прорывы, охваты - достижение немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам...» Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев: войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться этим вряд ли приходится.

Обер-лейтенант в Вильнюсе, на кладбище Рос (там был сборный пункт для пленных), говорил: «Я на Восточном фронте с самого начала. В сорок первом мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все перевернулось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильно. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует». Он помолчал и неожиданно добавил: «Я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем?...» Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик - смертельно раненная ворона упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный, как статуя.

Тацинцев и встретил у границы Литвы: они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск «Мы не по дорогам шли - лесом, болотами, смешно сказать - где только заяц бегаёт. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись...»

Стояли очень жаркие дни, дождя давно не было, и плотные тучи удушливой пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, расплющенных, перевернутых, загораживали путь. Старшина Белькевич говорил: «Я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, семнадцать годов... Убили, то есть, буквально накануне - второго числа - соседи видели... - Он вытер рукавом лицо; пот, смешавшись с пылью, образовал маску.- Пыль-то какая!... - Потом тихо добавил: - Как мы вошли в город, отпросился домой, бежал. А сестренки нет...» И такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть - к тоске, к беде, к одиночеству, только не к чужому горю; много раз я это чувствовал в те годы.

А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих рассказов! В Ракове я пошел к настоятелю собора ксендзу Ганусевичу. Он сидел, старый, тихий, среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила из окна младенца; подбежал «факельщик», деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой: «Я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксендза, он болел, не мог ходить, они его замучили. В Лорах собрали всех в православную церковь и сожгли. В Першай убили двух ксендзов. В Писании сказано: «Он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Я старый человек, но как будут жить после этого молодые?...»

Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал: «Письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем - осталась одна, хочет попрощаться с товарищами Паши...» Все примолкли; вскоре уснули. Мне не спалось, я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксендза.

На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел Тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев - минских и привезенных из Праги, Вены. Обреченных приводили в душегубках (машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли «геваген»; машины усовершенствовали - кузов опрокидывался, сбрасывал тела удушенных; новые машины именовались «гекнипваген»). Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых; трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданеке, ни о Трестинке, ни об Освенциме. Я стоял и не мог двинуться с места, напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать - нет слов.

Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели Тростянец. Кажется, нигде война не была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала, и стоял сильный смрад.

Я говорил с командующим пехотной дивизией генерал-лейтенантом Окснером. Когда его взяли в плен, он был одет как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных, он мне сказал, что идеи, которые вдохновляют вермахт, живы и рано или поздно восторжествуют. Я спросил его о Тростянце, он ответил: «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести...» - «А почему вы переоделись?» - «Не хотел унижить звание - немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал: «Мы оказались в положении маленького народа - против нас огромные государства: Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя Голиафами...» У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников.

Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой: «У Воронежа вы воевали лучше...» Гельвицер ответил: «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера, он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками...» Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах: часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии кучка офицеров пыталась выступить против Гитлера; это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманивал страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое - он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные

действия перебросятся на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростянце они не говорили...

Передо мной номер «Зольдатенцейтунг», я гляжу на портрет военного в мундире: генералу танковых войск фон Заукену, кавалеру ордена железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось семьдесят лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Заукен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов... Я ничего не могу с собой поделатъ: я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных - гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город; помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов; помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев - стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр. Да и не в нем дело. «Зольдатенцейтунг» в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данциг, Судетскую область. Значит, снова?... С этим не мирятся ни разум, ни совесть.

В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запад настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат - он воевал в первую мировую войну, говорил: «Вы про пехоту не забывайте. В двенадцать дней прошли почти четыреста километров. У пехотинца теперь свой мотор сердце, человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал: «Осерчали...» Видят, что немцы понаделали, и торопятся - кончат нора...»

Картины менялись, и картина оставалась той же: по-разному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов: чернели дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплац» («площадь Свободы»). Кажется, в Красном, а может быть, в тех же Ольшанах фабрикант Рихард Садовски заставлял прохожих сходить с тротуара, подымать руку, восклицать: «Хайль!» Алексей Петрович Малько (я записал имя) рассказал, как немцы сожгли его дочек Лену и Глашу, это было в деревне Брусы. Возле Сморгони бойцы наши в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора и что «немцы сыпали маме песочек в

рот, а мама кричала». Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячу двести евреев; портной, когда немец приказал: «Танцуй!» - плюнул и крикнул: «Убивай скорей, ты свое еще получишь!...» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми,- не знаю, убили ли жителей или угнали, а может быть, люди убежали в лес.

Все выглядело, как год назад возле Глухова или Чернигова; но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса; отовсюду стреляли, и незнакомый мне майор закричал: «Ложись!...» В этот день наши танкисты были уже далеко прошли полпути к Каунасу; а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавших, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии.

Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала П. А. Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял: «Прошлым летом танки играли другую роль, тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, вырываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя. Без

головы, разумеется, тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались - мало места для инициативы. Вот после войны, надо надеяться, будем жить разумней». Мне понравился маршал: молодой, живой, разбирался не в одних военных операциях, но и во многом другом - в политике наших союзников, в литературе, даже в различных сортах рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на поле боя, но и (это, может быть, еще труднее) в будничной гражданской жизни.

Никогда раньше я не был в Вильнюсе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно дома, барочные костелы, узкие старые улицы. Редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется. Несут раненых. Ведут на кладбище Рос пленных. Солдат мало - они выбивают немцев из пригородной рощи. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки. Да и сейчас в городе немцы прячутся, постреливают из автоматов.

Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой: «Зря ходите - они

из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-таки...»

На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году - я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко; он был хорошим рассказчиком, охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, когда мы годами не видались, я о нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было - и кинокамеры, и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У Остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли мы к костелу снятой Анны. Павленко рассказал - Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич. Кое-где лежали тела убитых горожан; помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века; рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рассматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник; вдруг зевнул: «Дождь... Давайте-ка пойдем перекусить. У меня бутылка французского коньяка». Мы выпили, и Петр Андреевич сказал: «Помните, как я вам показывал Стамбул, святую Софию. Это было в двадцать пятом или двадцать шестом, почти двадцать лет... Жизнь была шумной, а написать почти ничего не удалось. Вы мне сказали как-то, что я люблю приврать, когда рассказываю. Ну не так прямо, но я понял... Отнесите за счет эпохи - пар требует выхода. В литературе, хочешь не хочешь, а ври, только не так, как вздумается, а как хозяин велит. Что и говорить, он человек гениальный. Но об искусстве нечего и мечтать. А в общем, все ерунда. Выпьем лучше за победу...»

Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы, прочитав, рассмеялся: «Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к вам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то спрашиваю - никто толком не знает, одни говорят - сто, другие - полтора. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске, пишет, что ждет со дня на день, болеет, боится, что не дотянет...»

Я встретил группу партизан-евреев, они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговорился с двумя девушками - Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партию в Понары - там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация Сопротивления, ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий, коммунист Виттенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтоб он явился, не то уничтожат все гетто. Виттенберг сказал товарищам: «Вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убили...» Его замучили. Пятистам заключенным удалось бежать; они сражались в отрядах «За победу», «Мстители», «Смерть фашизму». Рахиль и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись; у меня сохранилась фотография: я с группой партизан.

На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса: немцы в роще начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями; выглядели люди страшно - просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды; но почти все улыбались - самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выносили из немецких машин барахло. Говорили, что будут выдавать хлеб.

Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы: в стеклянной банке я нашел сухари из черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверно, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии - группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с видом Ниццы. На полке стояли книги - польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать - и бросил. Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной? Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо. Ведь мучился человек в этом романе из-за тонкостей любви. Может быть, они

встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не закапывали живьем, не сажали в душегубки. Не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверно, жена майора ждет не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа! А может быть, именно оттого, что победа близка, можно задуматься, затосковать?...

Я приподнял ковер, которым майор завесил окно. Светало, утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о минском котле, о боях в Вильнюсе, о летчиках «Нормандии». В свою очередь, он поделился новостями: «Судя по радиоперехватам, партизаны начинают занимать города в Дофинэ, в Лимузене,- и, суеверно понизив голос, добавил: - кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию...»

Россия рано вошла в мир Жана Ришара; говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года, подписей было много, а текст написал студент Сорбонны, двадцатилетний Ж. Р. Блок. Он восторженно встретил рождение Советской республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на съезд советских писателей; он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране,- достопримечательности, образцово-показательную жизнь.

Вторично он приехал в Москву весной 1941 года, приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. А.Н. Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через Казань, он разыскал Блока, который снимал комнату в татарской семье; комната была подвальной. Жан Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте: «Скоро немцев расколотят...» «Да что ее,- добавлял, смеясь, Алексей Николаевич,- он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное - сводки, хлеб не убран, люди повесили нос - словом, пакость, а француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен, это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается...»

Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам: рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех

не перечислить, назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан Ришар захворал; пришел врач и ужаснулся, мне позвонили: «Истощение на почве длительного недоедания...» А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь.

Жан Ришар мучительно переживал вынужденную разлуку с родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса. А в те годы был грохот бомб и молчание. Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими - с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто: окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось шестьдесят лет, выглядел он моложе, может быть, потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтескье, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку: «Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз - для других и для себя...»

Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он неожиданно сказал: «Мне перевели новый указ о браке...» Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать: «Теперь война, не стоит об этом задумываться...»

Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он вскользь упомянул, я прочитал где-то под Минском; кругом стреляли, я засунул газету в карман и, как Блок, сказал себе: не нужно об этом думать. У войны свои законы: стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ о браке продолжал линию, которая наметилась год назад: обязательная регистрация, судебное разбирательство для развода, понятие матери-одиночки, все это было куда ближе к дореволюционному законодательству, чем к декретам первых лет революции, но я жил тогда одним - разгромом фашизма, все остальное мне казалось второстепенным.

Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года: он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером.

Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась первая мировая война, и с нею началась новая эпоха. А Жан Ришар успел и написать хороший роман «и компания», и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это было связано не с подпольем, не с провокаторами и «провалами», не с тюрьмой, а с благородными речами Жореса, с верой в разум, в прогресс, Я приезжал во Флоренцию зеленым юношей, духовно неприкаянный, всегда голодный и восхищенный красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан Ришар, профессор французского института, отец троих детей, эрудит и гуманист; искусством кватроченто он любовался не как воришка, прокрававшийся в богатый дом, а как законный наследник.

Может быть, именно поэтому первая мировая война была для него катастрофой, - он должен был решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Ролланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим собой - он знал, что Роллан из своего швейцарского далека рассуждает правильно; но знал и другое - немцы вторглись во Францию, нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен на Марне, в Шампани и у Вердена, последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дна. Ромен Роллан любил Блока, но поведение его осуждал: считал, что молодой Жан Ришар, подобно многим, культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые тридцать лет спустя продиктовали Блоку слова: «Теперь не стоит над этим задумываться». Накануне второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромену Ролла ну про роман Барбюса «Огонь»: «Он создал произведение захватывающее, но не долговечное. Он удовлетворился замечательным показом декорации и силуэтов. Но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это - главное».

Двадцатые годы, первая половина тридцатых были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только

сгибаться, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан Ришар - романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес; но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами, эссе.

Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией мысли, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтеня до Сартра, от Стендаля до Жана Ришара Блока видели в эссе возможность объединить обостренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году, и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что вопросы, которые мучили Блока тридцать лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу.

В предисловии автор «Судьбы века» говорил: «Я не обращаюсь к политикам. Беседуя со мной, они потеряли бы время. Они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным...» Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром; задолго до этого выбрал себе место, вступил в партию он много позднее, но называл себя и тогда коммунистом. В конце двадцатых годов он предвидел предстоящее затемнение: «Снова рабочий Калибаи и музыкант Марсий - хранители подлинной культуры. Им нужно быть зоркими, потому что мы видим начало второго средневековья. Подымается волна нового нашествия... Эти новые варвары уже обосновались у нас. Они управляют нашей

промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами».

Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека: «Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой, это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей». Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страстью к спорту. До Гитлера, до многого другого он предостерегал: «Итак, мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством... Восемнадцать лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн», эта ересь становится религией...» И далее: «Мы идем к диктатуре всемогущей полиции я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ». Он говорил также о развитии точных наук и техники без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание,- мне хотелось показать Жана Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают.

В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания означала объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго - видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена: «Мне тоже хочется писать о женщине, о любви, мне хочется выразить в словах, так, как это не выражали прежде, свист иволги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышу свист снарядов, крики раненых, мои товарищи отступают под самолетами, перед танками, и у меня во рту горечь этого отступления...» Для раздумий больше не было места.

Начиная с той поры Жан Ришар снова жил как солдат. Год спустя в Париже начала выходить газета «Се суар»; ее редакторами были Блок и Арагон. Жан Ришар писал не о свисте иволги, а о «невмешательстве», о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход «Се суар». Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевенном и

Валлоном выступили в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье; это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель; полиция пришла и за Жаном Ришаром, случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал, Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан Ришар узнал, что его мать, восьмидесятишестилетнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Освенциме; дочь Франс увезли в Гамбург и там казнили. Начала выходить «Се суар», и Жан Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в Национальную ассамблею. Он почти каждый день выступал на митингах - надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва - Париж», правил корректуру, и в марте 1947 года скоропостижно скончался.

Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительна, а я уже говорил, что Жан Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным: «Писатель не только официальный прославитель завершенных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания «инспектора законченных работ». Он превратился бы в общественного паразита; таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении... К счастью, у писателей другое назначение!» В той же речи Блок выступил против канонизации лжеклассических форм, которая обозначилась в речи Жданова: «Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие - летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч». Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него, но у войны свои законы; он писал о том, о чем писали многие: что Мюнхен - измена, что нельзя жить под игмом фашизма, что американское золото хочет заменить германский булат.

Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой и, только оставаясь сам с собой, «заменял» глаза образцового солдата и оптимиста на свои - на глаза обреченного художника.

Я не помню, когда с ним познакомился, кажется, в 1926 или в 1927-м. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр «Судьбы века» с надписью Жана Ришара,- по ней я вижу, что в 1932 году он меня считал своим другом. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа: подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, Блоки меня навещали, поддерживали. А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к Блокам. Жан Ришар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что нас сблизало? Да то, о чем мы редко говорили: общность судьбы.

Жан Ришар писал: «Нужно ли говорить, что Советский Союз не рай и что там можно встретить не только праведников...» Он не был слепцом. В книгу «Москва - Париж» он включил статью «Илья Эренбург - наш друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислял некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал: «Восемьдесят три русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства - как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства «чудовища Пикассо!»» Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, он мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо - большой художник, он знал, и переубедить его было невозможно. Когда в одной редакции он услышал разговоры о том, что «евреи предпочитают фронту Ташкент», он спокойно ответил, что во время процесса Дрейфуса он уже слышал такие разговоры и в лицее бил за них по лицу будущих фашистов. Он видел чванливых бюрократов, взяточников; несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что

Тухачевский был не предателем, а жертвой мании преследования и самодурства?... Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию «пятой колонны». Он начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается...

Чем он утешался в часы, когда ему становилось невмоготу? Иногда писал стихи. Иногда переводил стихи. Во время первой мировой войны, раненый, в полевом госпитале, он начал переводить Гёте. В годы второй мировой войны он переводил вторую часть «Фауста». Этим многое сказано.

Конечно, доброта - прирожденное свойство, и, наверно, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений; но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец в Освенциме? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан Ришар был человеком редкой доброты.

Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Ж. Р. Блок писал: «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения.

Приехал а Москву на короткую побывку Василий Семенович Гроссман. Мы просидели до трех часов утра, он рассказывал о фронте, мы гадали, как сложится жизнь после победы. Гроссман сказал: «Я теперь во многом сомневаюсь. Но не в победе. Пожалуй, это самое глинное...»

Война раскалывала семьи, разводила довоенных друзей, и война за вязывала новые узлы. С Василием Семеновичем я подружился в первые месяцы войны. До этого я знал только его книги. Помню, как в Париже я прочитал напечатанный в «Литературной газете» один из его первых рассказов - «Четыре дня». Вероятно, он мне понравился не только потому, что был хорошо написан, но и потому, что в манере письма я почувствовал нечто от Бабеля. Потом я начал читать «Степана Кольчуги на», он показался мне «классическим», а я еще не умел радоваться успеху произведения, написанного в чуждой мне манере.

Война отодвинула в сторону литературные распри. Кажется, обо всем мы говорили с Гроссманом, но меньше всего о форме или языке романа.

Я нашел в старой записной книжке такие строки: «17 ноября 1941. Немцы передают, что взяли Керчь, начали наступление на Москву и Ростов. Утром в колхозе. Бессарабская девушка-свинарка, в беличьей шубке. Аэродром без охраны. Районный центр Кинель. На вокзале толстяк обладывает курицу, показывает удостоверение - эвакуируется в Уфу. «А почему здесь сидите?»- «Простыл». Потом тихо: «Они и в Уфу придут». В Куйбышев приехали Гроссман и Шкапская. Приехали на санях. Гроссман говорит: «Все в голове перепуталось».

Нам как раз тогда отвели квартиру; в ней разместились Гроссман и Габрилович. Начались бесконечные ночные разговоры - днем мы сидели и писали. Василий Семенович прожил в Куйбышеве две недели; потом пришел приказ от редактора «Красной звезды», и он улетел на Южный фронт. Я вскоре уехал в Москву. Он много рассказывал и о растерянности и о сопротивлении - отдельные части

дрались стойко, а хлеб не убран. Рассказывал о Ясной Поляне. Начал повесть «Народ бессмертен», когда я потом ее прочитал, многие страницы мне показались хорошо знакомыми.

Разные у нас были не только литературные приемы или восприятие живописи (Василий Семенович любил то, что мне казалось неприемлемым), но и характеры разные - нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я «минималист»: от людей да и от лет требую малого. Может быть, это верно - человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку: в гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Ибсена: «Все или ничего!»; очевидно, «минималистами» люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался «максималистом» в пятьдесят лет. Нельзя понять его судьбы, не оговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе.

В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений (Фадееву это было близко, и он долго, страстно защищал роман «За правое дело»). Повествование Гроссман прерывал долгими размышлениями. После войны я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев, авторское отступление только ослабляет силу главы. Он рассердился: «То, что вы называете «отступление», для меня главное, это наступление...» Я не стал спорить: я считал его крупным и честным художником, который вправе писать так, как ему хочется. Он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка.

Он был доподлинным интернационалистом и часто меня упрекал за то, что, описывал зверства оккупантов, я говорю «немцы», а не «гитлеровцы:» или «фашисты»: «Нельзя отнести эпидемию чумы к национальному характеру. Карл Либкнехт был тоже немцем...» (Только однажды он вышел из себя. Это было в сожженном немцами селе Летки мы ждали наступления на Киев. Я разговаривал с пленным - одним из «факельщиков». Со мною были Гроссман и немецкий писатель-эмигрант, которого Василий Семенович знал. Гроссман все

время молчал. Когда мы ушли, он сказал мне: «Может быть, вы и нравы...» Я удивился, чем поразил его пленный,- он отвечал, как тысячи других. Василий Семенович сказал, что дело не в пленном, а вот его знакомый все время старался найти оправдание для «факельщиков»)

Гроссман с огромным уважением относился к истории, обычаям, литературе всех народов Советского Союза. О Ленине он говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из подполья, для него были безупречными героями. Я был на пятнадцать лет старше его и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал; «Не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь?» Василий Семенович сердито ответил: «Вы многого не понимаете. Для вас жизнь - это поэма, и чем запутанней, тем лучше. А жизнь - это притча».

Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, пол которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть «Народ бессмертен» из списка представленных на премию вычеркнул Сталин. Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова,- за все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но попытаться истолковать различные притчи жизни.

Гроссман оказался в Сталинграде в конце лета. Он написал оттуда ряд очерков, который мне кажутся самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет. Почему генерал Ортенберг приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее - по любви к молодому и талантливому писателю, это понятно. Но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих пор не понимаю. Месяцы в Сталинграде и все, что с ними связано, запали в душу Гроссмана, как самое важное. Писали об этом многие другие, но только Некрасов, который был офицером-сапером, и Гроссман, которого сталинградцы считали не журналистом, а своим боевым товарищем, смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы.

Первая часть романа Гроссмана «За правое дело» была напечатана в 1952 году, а в феврале 1953 года в «Правде» появилась статья одной писателя, напоминавшая не критику романа, а обвинительное заключение. В редакции мне говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился. Это неровный роман, и нем все достоинства и все недостатки Гроссмана: есть люди, почти насильно выведенные на сцену, длинные рассуждения, но есть и главы потрясающей силы. Я никогда не забуду ночь перед переправой на правый берег Волги и подростка-офицера, который перебирает вещицы в вещевом мешке; это мог показать только большой писатель.

В 1946 году была первая репетиция: Гроссман опубликовал пьесу, написанную им еще до войны, «Если верить пифагорейцам». Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». Ругать Гроссмана было беспроегрешной лотереей.

Характер у него был трудный: чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг, посмеиваясь, говорил пятидесятилетней женщине: «А вы за последний месяц очень постарели...» Я знал эту его черту, и, когда он вдруг замечал: «Вы что-то стали очень плохо писать»,- я не обижался. В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я ни старался, не могу вспомнить, на что он обиделся, не помнит и Люба. Вероятно, это было пустяком, и не в нем нужно искать объяснения. Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объясниться, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходиться? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне «дело», пришел, сидел долго, но разговора не вышло. Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой.

Василий Семенович продолжал работать. Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману. Я увидел военных корреспондентов «Красной звезды» - пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что

многих мучила та же мысль: почему не поддержали, не согрели? Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Эта старая история: судьба, видимо, не любит максималистов.

В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно называли «Черной книгой». Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Вс. Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфуллину, Переца Маркиша, Алигер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах, назову здесь некоторых: капитан Петровский (газета «Конногвардеец»), В. Соболев («Вперед на врага»), Т. Старцев («Знамя Родины»), А. Левада («Советский воин»), С. Улановский («Сталинский воин»), капитан Сергеев («Вперед»), корреспонденты «Красной звезды» Корзинкин, Гехман, работники военной юстиции полковник Мельниченко, старший лейтенант Павлов, сотни фронтовиков.

На Нюрнбергском процессе было установлено, что гитлеровцы в Германии и на захваченной ими территории других стран убили все еврейское население - около шести миллионов душ. В 1941 -1942 году в нашей печати об этом мало писали: фашисты в своих листовках уверяли, будто они воюют не с русскими, не с украинцами, а только с евреями. Передо мною одна из бесчисленных листовок, которыми немцы закидывали наш передний край: «Товарищи! Видели ли вы когда-нибудь сами эти «немецкие зверства» по отношению к русскому народу, о которых денно и ночью твердит советская пропаганда, все эти Эренбурги?... Да! Немцы безжалостно истребляют жидов. Туда им и дорога!» Советские журналисты (в том числе и я) считали своим долгом показать лживость таких утверждений. Я написал сотни статей, в которых рассказывал, как гитлеровцы убивали русских детей, вешали девушек Белоруссии, жгли украинские села. В 1944 году мне казалось, что пришло время обнародовать документы об уничтожении фашистами еврейского населения.

Я знал, что сухие цифры перестали производить впечатление, и начал собирать дневники, письма, которые передавали мучения,

пережитые отдельными людьми. Много сил, времени, сердца я отдал работе над «Черной книгой». Порой, когда я слушал рассказы очевидцев или читал пересланные мне письма - к сыну, сестре, друзьям, мне казалось, что я в гетто, сегодня «акция» и меня гонят к оврагу или рву. Я писал в 1944 году:

...Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мое каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал.
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Моё дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня...

Я хочу, чтобы мои слова о «несметной родне» были бы правильно поняты. Мне чужд любой национализм, будь он французский, английский, русский или еврейский. Я испытываю глубокое отвращение к расовой спеси, все равно к какой - к немецкой или к американской. Притом я не верю в таинственные свойства крови. Тургенев, которому удалось видеть живого Пушкина, вспоминал: «Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом, почти без бронеи и курчавые волосы...» «Африканские губы» не помешали Пушкину стать самым ярким выразителем русского национального гения. Правда, в домах некоторых американских негров я видел рядом с портретом Александра Дюма портрет Пушкина - хозяева их почитали вдвойне - в их жилах текла африканская кровь. Я не мог осудить негров - они хотели противопоставить все, что могли, расовой надменности «белых» американцев. Не могу и осудить и евреев, которые, сталкиваясь с антисемитизмом, начинают к месту и не к месту вспоминать, что еврейская кровь текла в жилах Маркса, Гейне или

Эйнштейна. Над тем, что я еврей, меня заставили задуматься не воображаемые зовы моей крови, а вполне реальные антисемиты. Есть нерушимый человеческий закон - солидарность униженных и оскорбленных. Если какой-либо сумасшедший диктатор начнет убивать людей с рыжими волосами, возникнет солидарность рыжих. Если люди, падкие на суеверия, вдруг уверуют, что все зло в веснушках, один веснушчатый, встретив другого, будет относиться к нему как к товарищу по беде, не станет пудрить лицо, а, наоборот, постарается найти доводы в пользу веснушек.

Осенью 1944 года, когда я рассказывал о Тростянце, один из литераторов с усмешкой сказал: «Кровь заговорила...» Да, конечно. Я вспоминаю слова Юлиана Тувима - заговорила кровь, не моя, а жертв Тростянца.

Я говорил, что в составлении «Черной книги» принимали участие многие русские писатели, военные, юристы, ученые. Хочу напомнить о тех знаках солидарности, которые меня глубоко волновали. Помню, как я обнял узбекского поэта Гафура Гуляма, когда осенью 1943 года он приехал в Москву: в самом начале войны, возмущенный гитлеровскими зверствами, он написал стихотворение «Я - еврей». Помню страстные строки Павло Тычины, выступления Паустовского, Вс. Иванова, Сейфуллиной, стихи Мартынова о нюрнбергском портном, написанные еще накануне войны.

У меня сохранились сотни писем, дневники, записи. Я перечитал их и, хоть прошло двадцать лет, снова испытал ужас, смертельную тоску. Не понимаю, как мы это пережили и как хватило сил жить: не о смерти я говорю, даже не о массовых убийствах, а о сознании, что нечто подобное могли совершить люди в середине XX века, жители высокоцивилизованной страны.

Один из узников рижского гетто писал в своих записках, что в том же бараке находился известный историк С. М. Дубнов, которому тогда исполнилось семьдесят один год. Среди комендантов гетто был Иоганн Зиберт, человек, когда-то учившийся в Гейдельбергском университете. Дубнов читал в Гейдельберге до первой мировой войны лекции по истории Древнего Востока. Зиберт, узнав, что в гетто находится его бывший учитель, пришел к нему и долго смеялся: «В молодости я был настолько глуп, что ходил на ваши лекции. Какой вздор вы нам рассказывали! Хотели, чтобы мы размякли и поверили в

торжество гуманизма. Смешно...» Иоганн Зиберт не отказал себе в удовольствии лично присутствовать при убийстве Дубнова. Вот это страшнее всего. Значит, мало всеобщей грамотности, университетских аудиторий, высокоразвитой техники, чтобы оградить людей от одичания.

Я мечтал издать «Черную книгу» и теперь приведу несколько страниц из нее не для того, чтобы помучить себя и читателей,- нужно помнить о том, что было, в этом одна из порук, что люди не допустят повторения.

Эвакуация почти повсюду проходила беспорядочно и в трудных условиях. Здоровые мужчины были далеко - сражались. В самом начале войны немцы захватили Белоруссию, Украину, Литву, Латвию-земли, где издавна жило много евреев. В некоторых городах, как Вильнюс, Рига, Минск, гитлеровцы убивали евреев постепенно, в течение двух-трех лет. Молодым иногда удавалось бежать из гетто, и они воевали в партизанских отрядах. В других городах, как в Киеве или Харькове, все евреи были убиты вскоре после прихода немцев. Из десятков тысяч людей спаслись десятки; одних прятали местные жители, другим удалось перейти линию фронта. Немало городов и местечек, где, никто не спасся. Часто после освобождения города русский или украинец сообщал своему земляку-еврею, бывшему на фронте, о судьбе его семьи.

Вот письмо учительницы поселка Борзна (Черниговская область) В. С. Семеновой Я. М. Росновскому: «...18 июня 1942 г. глубокой ночью, когда все спали, пришли в еврейские дома, забрали всех - 104 человека и повезли к селу Шаповаловка, где был противотанковый ров. Глубокого старика Уркина спросили перед тем, как застрелить: «Хочешь жить, старик?» Он ответил: «Хотел бы увидеть, чем все это кончится». Двадцатидвухлетняя Нина Кренхауз умерла с годовалой девочкой на руках. Учительница Раиса Белая (дочь переплетчика) видела, как расстреляли ее шестнадцатилетнего сына Мишу, сестру Маню с детьми (младшему было несколько месяцев), она уже не понимала ничего и только волновалась, что потеряла очки...»

Письмо лейтенанту Выпиху от Соколовой из Артемовска: «...В их число попали и ваши близкие родственники мать, Бетя, Роза и Софочка. Их загнали в карьеры Военстроя и замуровали заживо. Надо еще вам передать слова Софочки, она плакала, говорила: «Почему

наших так долго нет? Когда придут, расскажите». А мать ваша говорила, что одного хотела бы - увидеть перед смертью сыновей...»

Герой Советского Союза младший лейтенант Кравцов писал тестю о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино (Винницкая область):

«...20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили и мою крохотную Нюсеньку. А других детей, и среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого...»

Город Хмельник (Винницкая область) был захвачен немцами 18 июля 1941 года. Из десяти тысяч евреев здесь спаслись относительно многие - двести шестьдесят, часть сражалась в партизанских отрядах. Спасся и А. К. Беккер, который прислал мне описание того, что пережил; там были такие строки: «...Сколько я ни умолял разрешить мне идти вместе с семьей, чтобы жене было легче вести детей на смерть, ничего, кроме ударов прикладами, не вышло... Погнали в сосновый лес за три километра от города, там уже были приготовлены ямы. Все растеряли друг друга. Ребенок четырех лет Шайм - отца у него не было, а мать убили раньше - шел, как взрослый, в колонне... У ямы людей поставили в ряд, заставили раздеться и детей раздеть догола, так стоять при страшном морозе, а затем сойти в яму. Дети кричали: «Мама, зачем ты меня раздеваешь? На улице очень холодно...»

Розовая школьная тетрадь; это дневник студентки Сарры Глейх. Изумительно, что она бепо, порой бессвязно, изо дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября, через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих, ходили в военкомат, просили их эвакуировать; им ответили, что «эвакуация не предвидится раньше весны». 8 октября она пишет: «Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируемся, нужно подготовить документы, можно взять семью, значит, отъезд обеспечен...» В тот же вечер она продолжает: «В 12 часов дня в город

вошли немцы, город отдан без боя...» Через много страниц запись: «19 октября. Завтра в 7 часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе...» «20 октября... Нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли смерть 9000 еврейского населения. Велели раздеться до сорочки, гнали по краям траншеи, но края уже не было - все было заполнено трупами, в каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом - мой папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, нее поцеловались. Фаня все не верила, что это конец: «Неужели я никогда не увижу солнца?» А Владя спрашивал: «Мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем, мама, домой, здесь нехорошо». Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти. Бася шептала: «Владя, тебя-то за что?» Фаня обернулась, ответила: «С ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту». Я не выдержала, схватилась за голову и начала дико кричать. Мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать: «Тише, Сарра». На этом все обрывается. Когда я пришла в себя, были уже сумерки, трупы, лежавшие на мне, вздрагивали, это немцы стреляли, уходя, чтобы раненые не могли уйти, так я поняла из разговора немцев, они боялись, что много недобитых, и они не ошиблись. Было много заживо погребенных. Кричали маленькие дети, которых матери несли на руках, а стреляли нам в спину, и малыши падали невредимые, а на них валялись трупы... Я начала выбираться из-под трупов, встала, оглянулась. Раненые копошились, стонали. Я начала звать Фаню. Оказался рядом Грузинский. Он был ранен в обе ноги, попытался встать и упал. Какой-то старческий голос напевал «лайтенах», это было ужасно...» Сарра Глейх 27 ноября, после месяца блужданий в степи, узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла, ей удалось добраться до отряда красноармейцев.

Письмо двадцатилетней Буси, которая жила в Краматорске, оно датировано августом 1943 года и начинается словами: «Милые мои, дорогие тетушки!» Это письмо показывает, что переживали те немногие, которым удалось спастись; может быть, это было еще страшнее, чем ожидание смерти. (Да и Буся пишет: «Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, а пусть знает, что «жизнь - замечательная штука», как сказал Киров, и в то же время

жизнь не стоит и копейки, совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет...») Она рассказывает тетушкам о 20 января 1942 года: «...Мороз 30 градусов. По улице идут женщины с вещами. Их подгоняют полицейские. Потом сажают в машины, везут к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, и семья Шнейдера, жены братьев Браиловских с детьми, был Рейзен с Полиной, он хоть перед смертью настоял на своем - в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым. Хватит! Я хочу только знать, не презираете ли вы меня за то, что я оставила Мину? Оправдываться не буду. Я сказала маме: «Ты как хочешь, а я бегу». Как я могла сказать такое маме? Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь. Она пошла со мной, несколько раз порывалась вернуться - с другими на казнь, заговорила о долге. Я как сейчас помню, осмотрелась - дома закрыты наглухо, никто не пустит обогреться. Пусть замерзнем, пусть поймают, повесят, только не идти самой!... Судите меня сами, и если признаете виновной, пусть будет по-вашему, не считайте меня больше «любимой племянницей». Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение, и я это перенесу, как вынесла многое, как, наверно, вынесу еще много неожиданного и страшного».

Я спрашивал себя не раз, что чувствовали немецкие солдаты, видя, как убивали беззащитное население, или узнав о расправах от своих товарищей. Вероятно, были такие, что ужасались происходящим, но молчали от страха, да и нужно было жить - идти в бой, шутить, пить и петь на отдыхе - лучше было не думать о растерзанных детях. Мне известен, однако, случай, когда немецкий солдат спас женщину с детьми; было это в Днепропетровске в 1941 году; обреченные ждали, когда их погонят ко рву. Тогда к Б. Тартаковской подошел солдат и тихонько сказал: «Я вас сейчас отсюда выведу»; он добавил: «Кто знает, что еще случится с нами...»

У нас почти ничего не писали о предателях; во время войны упоминали мимоходом - были военные суды, которые выносили приговоры, а потом совсем замолкли. Может быть, потому, что тогда занимались другим: обвиняли честнейших людей, зачисляли в преступники Лозовского, Майского, Переца Маркиша, драматурга Гладкова, писателя А. Исбаха, Рубинина, Квитко, Бергельсона. А настоящие предатели, разумеется, были: Власов и его помощники, бендеровцы, различные бургомистры, члены управ, полицейские. Не

понимаю, почему о них нужно молчать; было их немного, и набирались они среди отбросов общества. Достаточно заглянуть и газеты, выходявшие в оккупированных городах, «Голос Ростова» или «Пятигорское эхо», чтобы увидеть, как низок был не только моральный, но и культурный уровень предателей. Во Франции оккупанты нашли маршала Петена, Лавалья, Дорио - это не наши «старосты». Гитлеровцам повсюду нужны были писатели, готовые их поддержать и оправдать. У них были Гамсун, Дриер ля Рошель, Селин, Эзра Паунд. А за русского писателя им пришлось выдавать некоего Октана, который клялся, что бывал в Клубе писателей и пил там водку. Мелкота, человеческий мусор. Разумеется, различные «полицаи» усердствовали, вытаскивали из подвалов обезумевших старух, волокли к месту казни детей и для того, чтобы успокоить себя, лихо улюлюкали.

Были и мародеры, жаждавшие поживиться на чужой беде, занять квартиру семьи, которую не сегодня завтра убьют, вытащить из домов барахло; они торопились, боялись прозевать. Жадных и бесчестных людишек было не много, но они бросались в глаза.

За укрывательство евреев немцы вешали или расстреливали; и все же нашлось немало советских людей, которые, рискуя жизнью, прятали у себя евреев. М. М. Файштог, которой удалось убежать из Евпатории, писала мне: «Некоторые из тех, кого я считала друзьями, трусили, отшатнулись, а спас меня незнакомый мне человек Н. И. Харенко». Так в жизни бывает часто - цену человеку узнаешь в трудный час. Во всех письмах, дневниках, воспоминаниях спасшихся - имена русских, белорусов, украинцев, литовцев, латышей, которые помогли человеку уйти от смерти. Есть в Днепропетровской области село Благодатное, в нем бухгалтер колхоза П. С. Зиренко скрывал тридцать две души - семь еврейских семейств из Донбасса. Конечно, колхозники догадывались, кто в хатах, но на вопросы немцев или «полицаев» отвечали: «Здешние».

В марте 1944 года я получил письмо от офицеров части, освободившей Дубно, они писали, что В. И. Красова вырыла под своим домом убежище и в течение почти трех лет прятала там одиннадцать евреев, кормила их. Я написал об этом М. И. Калинин, спрашивал, не сочтет ли он справедливым наградить Красову орденом или медалью. Вскоре после этого Калинин вручал мне орден. Когда

церемония кончилась, Михаил Иванович сказал: «Получил я ваше письмо. Вы правы - хорошо бы отметить. Но видите ли, сейчас это невозможно...» М. И. Калинин был человеком чистой души, подлинным коммунистом, и я почувствовал, что ему нелегко было это выговорить.

В часы больших испытаний - все проверяется: и душевна и чистота, и смелость, и любовь. Гитлеровцы повсюду объявляли, что при смешанных браках «эвакуации» (так они называли массовые казни) подлежат только лица еврейского происхождения и дети, у которых отец или мать евреи. В документах «Черной книги» я нашел несколько рассказов о том, как русская жена или русский муж шли на смерть, говоря, что они - евреи,

Я возвращаюсь к мысли, которая меня преследует, когда я вспоминаю прошлое: человек способен на все. Однажды ко мне в редакцию «Красной звезды» пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве под Киевом он был ранен, попал в окружение и, переодевшись, пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось; он пошел к сестре жены; та испугалась, начала уговаривать его покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала: «Держите жида!...» Какие-то прохожие оглянулись, но прошла колонна грузовиков, и Мазуру удалось скрыться. Он побрел на восток, дошел до Таганрога. Там его спрятала русская женщина - К. Е. Кравченко. Незалеченная рана дала осложнение. Мазура отвезли в больницу. Русский врач Упрямец, узнав, что Мазур еврей, снабдил его паспортом одного из умерших. Мазур снова пошел на восток. Кравченко немцы арестовали, выдали ее. Упрямец спас многих, а летом 1943 года немцы его расстреляли. Мазур перешел линию фронта на Дону, сражался под Сталинградом, получил орден, был снова ранен. Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хорошо, когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем, повторял: «Вы ее знаете. Откуда мне знать, почему она так поступила?...» Он стукнул кулаком по столу: «Вы обязаны знать - вы ведь писатель!»

Теперь я должен рассказать о другой чете. Это было в местечке Монастырщина, Смоленской области. Исаак Розенберг, служащий загса, был тяжело ранен в бою неподалеку от Монастырщины; ночью он дополз до своего дома. Жена Наталья Емельяновна спрятала мужа в подполье под печкой. У них было двое маленьких детей; матери удалось их спасти - она заявила немцам, что это дети не от Розенберга, а от первого мужа. От детей она скрыла, что в доме прячется отец,- боялась, что они проговорятся. Розенберг ночью выходил из подполья, выпрямлялся, ел. Однажды четырехлетняя девочка увидела в щель чьи-то глаза и в страхе крикнула: «Мама, кто там?» Мать спокойно сказала: «Разве ты не видишь, что это крыса, у нас много крыс...» Розенберг на обрывках немецких газет вел дневник, записывал, что рассказывала ему жена, свои ощущения. Одна из страниц дневника посвящена кашлю - он простудился, его душил кашель, но он сдерживался, писал: «Я никогда не думал, что может быть еще такая свобода - кашлянуть...» Натальи Емельяновы заболела сыпняком. Детей взяли соседи, а она терзалась - муж умрет с голода. Она вернулась домой через две недели и нашла мужа ослабевшим, но живым.

В сентябре 1943 года наши войска подошли к Монастырщине. Немцы оказывали сильное сопротивление, они прогнали жителей местечка, и Наталья Емельяновна с детьми убежала в лес. Она вернулась, когда увидела первых красноармейцев. Дома не было, еще дымились зола, чернела печь. Исаак Розенберг задохся от дыма. Он прожил под печкой двадцать шесть месяцев и умер за два дня до освобождения. Наталья Емельяновна сидела у печи, и в руке у нее была газета - кусок дневника.

Работая над «Черной книгой», я все время удивлялся - то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю, да и не пойму, хотя, по словам Семена Мазура, я должен, как писатель, все понимать. В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман; она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев.

С нею была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте ребенка...» А потом прижала дочь к себе: «Стреляйте! Не хочу, чтобы она жила с вами...» Не знаю, что меня больше потрясло - поведение врача или старосты...

«Черная книга» была закончена в начале 1944 года. Ее читали, перечитывали, редактировали. Я поместил в «Знамени» несколько отрывков. В Румынии издали перевод первой части. Наконец книгу сдали в производство. В конце 1948 года, когда закрыли Еврейский антифашистский комитет, рассыпали набор «Черной книги», забрали гранки и рукопись.

У меня хранилась часть документов-дневники, письма, записанные рассказы. В 1947 году я передал их в Вильнюсский еврейский музей. Этот музей год спустя закрыли, и я считал, что документы пропали. Они оказались у меня: незадолго до ликвидации музея его директор принес две большие папки ко мне; меня в Москве не было, и папки десять лет пролежали между старыми рукописями и книгами.

В 1956 году один из прокуроров, занятых реабилитацией невинных людей, приговоренных Особым совещанием за мнимые преступления, пришел ко мне со следующим вопросом: «Скажите, что такое «Черная книга»? В десятках приговоров упоминается эта книга, в одном называется ваше имя».

Я объяснил, чем должна была быть «Черная книга». Прокурор горько вздохнул и пожал мне руку.

В начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» напечатал дневник четырнадцатилетней девочки Маши Рольникайте, заточенной в гетто Вильнюса, потом отправленной в лагеря смерти и чудом уцелевшей. Дневник снабжен предисловием поэта Эдуардаса Межелайтиса; он пишет: «Чтобы этого больше не повторилось...» О том же думали двадцать лет назад Василий Семенович Гроссман и автор этой книги воспоминаний.

В записной книжке среди военных новостей (а их осенью 1944 года было немало), среди цитат из иностранных газет и заметок - с тем-то обещал встретиться, туда-то дать статью - я нашел такую запись: «6 октября. Вечер у Кончаловских. Разговор о Париже. Каков он теперь? П. П. о том, как учился в Париже. Академия Жюльена. «Стога» Моне. Сезанн - ключ. Французская живопись была и осталась реалистической - ничего религиозного. О Пикассо. Художник это форма, цвет плюс мысль».

Мы поздно засиделись. Петр Петрович увлекся, и я как-то ожил - почувствовал, что кроме «душегубок», развалин, сводок есть на свете природа, цветы, хлеб, искусство.

Познакомился я с Кончаловским в двадцатые годы, но по-настоящему его узнал и полюбил много позднее. В годы войны, в послевоенные годы мы часто встречались. Петр Петрович удивительно крепко стоял на земле, это меня притягивало к нему. Я заметил, что устойчивость присуща либо фанатикам, либо подлинным жизнелюбцам. Воздух эпохи был перенасыщен фанатизмом, а душевного веселья не хватало.

Петр Петрович был человеком богатырского телосложения, и все у него было крупным движения, чувства, мазки на холсте. Я сказал о его душевном веселье, эти слова могут сбить с толку - он не был ни обязательным шутником, ни тем плакатным бодрячком, который долго считался у нас примером гражданской добродетели. Мне часто приводилось слышать, что он писал, не задумываясь, как светит солнце или как цветет его любимица сирень. А это неверно: Кончаловский был человеком глубокой мысли, он не только работал, он и шутил умно; в жизни он знал не один мед, приспособился и к полыни. Конечно, его было нетрудно огорчить - он обладал чувствительностью художника, а вот повалить его не удалось никому, хотя были люди, которые об этом мечтали.

Я расшифрую короткую запись, с которой начал рассказ о Кончало веком. О Париже мы говорили часто: Петр Петрович там прожил много лет, именно там впервые нашел себя как художника.

Когда ему было восемнадцать или девятнадцать лет, он поехал в Париж учиться живописи. Академия Жюльена была чем-то вроде московской гимназии Креймана - ее выбирали молодые художники потому, что там не было муштры, которая изводила всех в Государственной художественной школе; а профессора там, как и повсюду, были эфемерными знаменитостями академического направления. Вспоминая академию Жюльена, Кончаловекий смеялся: «Знаете, кто там учился? До меня Боннар, Вийяр, Матисс. Рядом со мной сидел Глез, он был еще мальчиком. А потом там учились Леже, Дерен. Матисс, мне рассказывал, что его учитель, кажется, он назвал Бугро, в свое время знаменитость, сказал ученику: «Это хуже всего, что я видел. Вы никогда не научитесь рисовать. Лучше выберите другую профессию». Меня учил Лоране, его картины висели в Люксембурге огромные батальные сцены, у нас он был бы трижды сталинским лауреатом. Однажды он меня похвалил. Я встревожился и понял, что делаю дрянь. Впрочем, потом, в петербургской школе, я жалел даже о Лорансе...»

Я не чувствовал, что Кончаловский много старше меня, порой даже завидовал его молодости. Однажды он рассказал мне, как увидел впервые современную живопись: «Это были восхитительные «Стога» Клода Моне. В Москве была выставка французской техники, и там почему-то выставили сотню картин, среди них Моне. Я обомлел. Сейчас скажу, когда это было... В 1891-м...» Вот тогда-то я про себя усмехнулся: в тот самый год, когда я родился. А молодым он оставался до конца. Когда ему было под восемьдесят, он не только просиживал холстом с раннего утра до сумерек, но и проказничал с внуками.

Кончаловский долго не мог найти себя. Он видел холсты своего тестя Сурикова, художественных опекунов своей молодости Серова. Коровина, относился к ним с глубоким уважением, но считал, что эпоха изменилась, изменилось и зрение, он искал свой путь или, как он любил говорить, «метод». Он увидел Ван Гога и пришел в такое восхищение, что совершил паломничество в Арль, был счастлив, что может купить краски в лавочке, куда приходил Ван Гог. Казалось, ничего не могло быть общего между трагическим, исступленным Ван Гогом и веселым, здоровым, крепким Кончаловским; но до конца своей жизни он любил повторять слова Ван Гога: «Я постоянно питаюсь природой. Иногда преувеличиваю, изменяю нее данные, но

никогда не выдумываю картину. Наоборот, я нахожу ее в природе уже готовой, хотя и требующей раскрытия».

Последующим и самым важным для него открытием была живопись Сезанна. Кончаловский настолько был потрясен, что сел за работу, которой никогда ни до того, ни после не занимался: перевел с французского книгу Эмиля Бернара, записавшего высказывания Сезанна о живописи.

Кончаловскому было тридцать четыре года, когда на первой выставке «Бубнового валета» его работы вызвали одобрение одних, издевку других.

Я заглянул в том Большой советской энциклопедии, изданный в 1951 году, и нашел там строки, посвященные «бубнововалетцам»: «Типичное проявление крайнего упадка буржуазного искусства эпохи империализма. Выступая крагами идейности и реализма, порывая с высокими традициями искусства прошлого (отсюда вызывающее, крикливое название объединения) «бубнововалетцы» маскировали свои реакционные позиции требованием «новой» формы. Однако их космополитическое «новаторство» сводилось к подражанию П. Сезанну и А. Матиссу». Правда, буква Б - вторая в азбуке, будь она тридцать второй - о «Бубновом валете» были бы строки несколько более грамотны. Однако если теперь восстановлены некоторые истины в истории архитектуры, литературы или музыки, то с живописью дело обстоит хуже. «Бубнововалетцы» умерли, но к их картинам пришиты волчьи билеты, выданные людьми, сведущими в чем угодно, только не в искусстве.

Энциклопедия, обличая «Бубновый валет» и назвав в списке виновных Кончаловского, указывает даты - 1910-1926. Это, на мой взгляд, самая яркая эпоха в творчестве Кончаловского.

Я не могу никак привыкнуть к тому, как норой мы пренебрегаем достижениями нашего искусства. Недавно я был в фондах Третьяковской галереи (попасть туда нелегко, но говорят, что и в рай не каждый вхож). В тесных темных коридорах хранятся замечательные картины, относящиеся к годам расцвета русской и советской живописи: холсты Кончаловского, Лентулова, Машкова, Сарьяна, Шагала, Фалька, Ларионова, Рождественского, Гончаровой, Куприна. Я вспоминаю натюрморты, портрет Якулова, мост через Пару и другие работы Кончаловского эпохи «Бубнового валета». При

чем тут империализм? (Можно, кстати, добавить, что французский империализм никогда не вдохновлялся Матиссом, как Матисс никогда не вдохновлялся французским империализмом.) Официальная Россия встретила выставки «бубиововалетцев» издевками, улюлюканьем, а благожелательно к ним отнеслись такие «сторонники империализма», как Луначарский и Маяковский. Конечно, название «Бубновый валет» довольно бессмысленно, но в те времена были в ходу нелепые наименования. («Дикие» тоже звучит не очень убедительно, что не помешало Матиссу, Марке, Люф), Фриезу не только стать большими мастерами, но, объединившись, обновить живопись эпохи.)

Я рассказывал, как, вернувшись в Москву вскоре после революции, пошел на выставку, где увидел холсты «бубнововалетцев» и обрадовался. В Париже и знал о новой русской живописи только по статьям «Утра России» или «Русского слова» и думал, что «бубнововалетцы» слепо подражают французам. Я сразу увидел, что это вздор.

Конечно, Кончаловский, как все «бубнововалетцы», многому научился у Сезанна, но может ли художник XX века пройти мимо живописных открытий этого мастера? Пикассо изумительно выразил национальный испанский гений, но вряд ли он сумел бы это сделать, не будь до него Сезанна. Андрей Рублев первый показал в живописи лирические черты, светлость, глубину русского характера, а учился Рублев у византийца Феофана Грека. Кончаловский, Лентулов, Машков учились не только у Сезанна, но и у мастеров русского народного искусства. Я хорошо помню вывески в наших дореволюционных городах: парикмахер мылит щеки клиента, турок курит трубку, разрезанные арбузы окружены гроздьями винограда. Кончаловский вспоминал, что натюрморт 1912 года «Хлебы» он написал после того, как увидел вывеску с головами сахара. Он рассказывал также, что, когда после поездки в Испанию стал писать бой быков, думал о старых троицких игрушках.

Кончаловский почитал Сезанна, любил французскую живопись, но творчество его было русским. Когда его холсты выставили в Париже, некоторые критики говорили о «грубости», «стихийности»: они не поняли, что перед ними - выражение иного характера, иной природы, иных традиций

Осенью 1944 года Петр Петрович с восхищением говорил мне о реализме больших французских мастеров; это может удивить ведь люди, которые в течение десятилетий его «прорабатывали», делали это во имя реализма. Кончаловский делил живопись на близкую к природе, реальную, и на другую - иллюзорную, где нет органической связи с природой и где часто «фотография служит подспорьем». Он вспоминал, как любители пришли покупать его натюрморт «Хлебы» в 1912 году: «Я подвесил шутки ради настоящий калач на нитке, под цвет фона, долго все смотрели, не замечая, что один калач живой, пока я не толкнул его и не раскачал на нитке. Доказательство близости к реальности». Остается добавить, что для ревнителей иллюзорного реализма этот натюрморт эпохи «Бубнового валета» (конечно, без подвешенного калача) остается воплощением «антиреализма».

Говорят, что Кончаловский прожил на редкость счастливую жизнь, это так и не так. Он был удивительно крепким, здоровым, веселым; много ездил по свету, много работал - написал тысячу семьсот холстов; всем интересовался, говорил свободно по-французски, по-итальянски, по-испански, изучил английский язык, чтобы прочесть Шекспира в подлиннике; был у него дом в Буграх, сад с сиренью, гости - он был большим хлебосолом; с женой Ольгой Васильевной жил душа в душу, обожал детей, внучат; ходил на охоту, читал Декарта, дружил с большими художниками - с А. Толстым, с С. Прокофьевым, с Пикассо, Мейерхольдом; умер в восемьдесят лет и почти до самого конца сохранил бодрость; любил родину, видел, как она растет и духовно мужает. Рассказанная так, жизнь Петра Петровича кажется неправдоподобно идиллической. Все в этой идиллии верно, и все же она, скорее, иллюзорна, нежели реалистична.

Для Кончаловского жизнь была прежде всего искусством; об этом он часто говорил. Когда он поехал в 1925 году в Париж и продал там несколько работ, он накупил красок весом семьдесят килограммов: не мог представить себе дня без палитры и кистей. Вечером, когда нельзя было писать, он рисовал. Вот почему в его биографии самое важное - холсты, путь живописца.

Можно сказать, что и в этом Кончаловскому повезло,- достаточно вспомнить мытарства Лентулова, Фалька, Татлина, Древина, Удальцовой. Коичаловский стал академиком; периодически

устраивались его персональные выставки. Опять скажу: все это так и не так.

Среда, естественно, влияет на художника или писателя; нужно обладать фанатическим упорством Фалька, чтобы не поддаться похвалам и хулам, премиям и проработкам, докладам, книгам отзывов, диспутам («диспуты» в те времена состояли в одном - все хвалили или все ругали). Я по себе знаю, как порой не осознаешь, что в том-то сдал, тем-то поступился. Мне кажется, что с начала тридцатых годов в некоторых работах Кончаловского проступает иллюзорное сходство с природой. А он не халтурил, работал честно и много; но, по его признаниям, прежнего «полного удовлетворения» не было.

Он на редкость глубоко понимал живопись. Уж на что был ему далек Пикассо, а Петр Петрович говорил: «Пикассо выше всех», и мудро объяснял другим, почему Пикассо великий реалист нашего века.

Ему устраивали юбилеи, присудили премию, но художники, которые в те времена ведали искусством, его едва терпели.

Вот слова из записной книжки Кончаловского: «Пушкин в письме к брату, Льву Сергеевичу, писал 14 марта 1825 года: «У нас ересь. Говорят, что в стихах - стихи не главное. Что же главное? проза? должно заранее истребить это гонением, кнутом, кольями, песнями на голос «Один сижу в компании»...» И у нас ересь! Говорят, в живописи живопись не главное! Что же главное? Поэтому мне не раз приходилось слышать, что мой главный недостаток - живопись, увлечение живописью, хотя тут же указывалось на жизнеутверждение и на качества, связанные с этим жизнеутверждением. Не ересь ли это? Главное в живописи - живопись, ибо только тогда идея, мысль, сюжет могут воздействовать на зрителя. Только через живопись художник может сообщить свои мысли и чувства зрителю. Такова природа искусства»

Вдохновение часто освобождало Кончаловского от чуждого ему «иллюзорного сходства» (так он говорил). Это видишь и в портрете Мейерхольда, и в некоторых семейных портретах, и во многих натюрмортах, и в удивительно молодом «Полотере», которого Петр Петрович написал в 1946 году.

...Он оставил много прекрасных холстов и все же, мне думается, не дал того, что мог бы дать при огромном таланте, высокой культуре, редкой работоспособности - путались в ногах «еретики», блюстители иллюзорного реализма навешивали на большие, крепкие ноги далеко не иллюзорные пудовые гири.

Характер у Петра Петровича был чудесный; он очень редко жаловался, даже с теми, кто ему мешал работать, поддерживал если не добрые, то добропорядочные отношения. Ольга Васильевна держалась с противниками мужа куда откровеннее, говорила: «Я - сибирячка, нужно бы стамеской, а я топором...»

Помню большую юбилейную выставку. Петр Петрович стоял, как всегда, веселый, жал руки, улыбался. Отведя меня в сторону, он рассказал об одном из тогдашних руководителей Союза художников: «Он ведь был за границей - примчался - снял лучшие работы - и «Полотера», и «Буйвола», и ранние «испанские» холсты. А сейчас будет выступать - приветствовать...» Говоря это, Петр Петрович продолжал улыбаться, но я понял, что улыбка порой давалась ему нелегко.

В 1949 году я был в Тамбове; сотрудница музея рассказала мне, что приключилось с натюрмортом Кончаловского, который висел в столовой одного из крупных заводов области. Директор решил, что «безыдейная» сирень недостойна передовиков производства. Прислали большой холст, изображающий сцену из заводской жизни. Неожиданно рабочие запротестовали: «Оставьте нам нашу сирень!»

Вернувшись в Москву, я рассказал об этом Петру Петровичу и увидел в его глазах слезы. Он тихо сказал: «Вот это - награда...»

Многие прекрасные работы Кончаловского и теперь можно увидеть только в раю, куда очень трудно проникнуть. Непонятно. Издают ранние стихи Маяковского, произведения Хлебникова, а картины покойного академика и лауреата, отнюдь не абстрактные - каждый разберет, что именно на них изображено,- старательно скрыты от глаз посетителей.

Конечно, пройдет год, два - и лучшие вещи Кончаловского переедут в музейные залы. А для друзей, знавших и любивших Петра Петровича, он остается в памяти необычайно живым, зеленым пятном среди пустыни: повалить его все-таки не удалось.

В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и - одних лучше, других хуже - узнал. Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел.

Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла В. В. Константинова, преподавательница, жившая в Кашине; она рассказала, что ее дочь Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник Ины. Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя - было много газетной работы. Начав читать дневник, я не мог от него оторваться.

Дневник начинался с 1938 года - Ине тогда было четырнадцать лет; она записывала свою жизнь в течение четырех лет; это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы: похоже и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха.

После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области; там мало заводов, большая базарная площадь, старые церквушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы; и Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами; кроме Ины, у них была вторая дочь - Рена, младшая.

Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры в «свадьбу», в «бутылку-указку», в «американку», танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки («Математика мне всю жизнь портит»), старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного.

У нее была подруга детства Люся, с нею Ина делилась всем и, когда родители увезли Люсю в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом «А», попала в девятый «Б» и сразу подружилась с Таней и Леной. В детдоме, куда она часто ходила, ей нравились Валя

Амбражунас и Оля Руманова. «Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова - все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала». «Лидочка Кожина. Какая она прелесть. Идеальная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ». «Подружилась с Кларой Калининой». Когда началась война, Ина пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. «Ростовчанин Заславский, молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот». В школу поступили новые ученики: «Москвич Женя Никифоров и Рэм Меньшиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята». «Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы! По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный». В ноябре 1941 года - эвакуация. Ина попадает в далекий город, в чужую школу; два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями - с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Ина становится партизанкой; ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике: «Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути! Он умный, чуткий, тонкий!» О комиссаре Абрамове: «Удивительно интересный человек, такой образованный и тоже... тонкий (это мое выражение, я-то его хорошо понимаю)». Вот ее товарищи по партизанскому отряду: «Гриша Шевачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик... славный парень. Игорь Глинский. Чудесный мальчишка... поразительное чувство юмора. Умный, начитанный... Макаша Березкин. Ну, прелесть!... Всегда весел, всегда улыбается. Не отказывается ни от какого дела...» Потом она пишет сестре: «Зоя была моей лучшей подругой. Замечательная девушка! И она погибла геройской смертью. Именно геройской. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, комбрига Арбузова, радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шевачева. И вот из их остался только Игорь». В отряде был пятнадцатилетний Вадик Никоненок. Девушки удивленно спрашивали Ину: «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала: «А он такой интересный...»

Она была веселой, прыскала, как и полагается девчонке. «У Феди Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала... И вдруг меня вызывают. Я даже не знаю, что и отвечать. Кое-как по подсказкам ответила и получила «хорошо». Но среди ответа вдруг меня такой

смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось...» «Сегодня был в пионердоме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки... Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах. Затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали невероятно...»

Ина читала много и беспорядочно. В пятнадцать лет она записывает: «Взяла Шиллера «Статьи по эстетике»... Жаль только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу». Философией, кажется, она не увлекалась. Как многие ее сверстницы, восхищалась «Мартином Иденем», плакала над «Оводом». Ее волновали самые несхожие авторы - Мамин-Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Ю. Герман, Вербицкая и Андре Жид. Ина любила стихи. В шестнадцать лет ей нравился Надсон, и она отрицала Маяковского - знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейне так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока; в старой «Ниве» нашла его ранние стихи.

Она увидела в московском музее картины старых итальянцев. «Картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мазня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и «выразительностью», нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится «Джиоконда», фрески итальянских мастеров... Никто не напишет «Божественной комедии» и «Анны Карениной». Мир теряет самое лучшее - красоту...»

В шестнадцать лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала: «Неправда!», над осуждением Маяковского: «Заблуждение!»

А любовь к красоте оставалась, ее Ина никогда не считала заблуждением.

Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Ина хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой, она переменяла планы и в 1944 году просила мать послать документы

в авиастроительный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором, но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи.

Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала - «вот это настоящая любовь». В пятнадцать лет она влюбилась в товарища по школе: «Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его... Я люблюсь им только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жюльена Сореля? Не может быть! Ведь он действовал из гордости, а я люблю...»

Левушка уехал, Ина о нем тосковала. «Мама говорит, что я не его люблю, а идеал, который я создала... По-моему, нет. Ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки люблю. Люблю все в нем, даже недостатки». Прошло три месяца, и Ина в страхе спрашивала себя: «Я не понимаю - неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно? Только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его. А этот... Нет, совсем не то. С этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит...» Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. «Я танцевала с ним! Вдруг подходит он ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все... Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и кажется, выходит...»

Ина узнала ревность: «Опять он провожал ее домой!» Она сердилась на себя: «В любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком». Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму: «Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия. Да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда!»

В 1940 году она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома - Максимом Пирушко и Федей Германом. «Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не

простился с ней. У Феди сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Караганде, а где отцы - неизвестно. Они, оказывается, как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания, уходят куда-нибудь, где никто не мешает, и говорят обо всем». Ине в 1937 году было тринадцать лет; беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а для Максима и Феди аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило Ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федя стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. «Вчера они сказали мне самую неприятную вещь - пришел приказ из наркомата, чтобы воспитанников детдомов старше четырнадцати лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут...» Она пишет дальше: «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции... Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне понастоящему хорошо и весело... Я танцевала немножко... Но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный. Какой говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше «tete-a-tete» обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама говорила об этом... Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима...» «Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить!...»

В дневнике Ины меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела «подлиз». Она была комсомолка, входила в совет Осоавиахнма. Осенью 1940 года она писала: «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра - неизвестно...» Ина болезненно относилась к любой фальши; в дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигавшейся войной, и неискренними, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине: «Ведь это ложь!... Ну зачем это?... Люси нет, и не с кем поговорить на эту тему...» В шестнадцать лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду.

В дневнике Ины много обычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста; есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии придавала ей особую душевную настроенность? В четырнадцать лет она писала: «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом. Скоро зайдет солнце. Все должно было бы быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но... Вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра - они живут настоящим, реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях, например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-то затхлом городишке, где никаких событий...» Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере: «Я имею двойную душу. Первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим - мечтами. Эта душа, грустная, тоскливая, покидает меня иногда. И тогда я становлюсь современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы... Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека...»

О смерти Ина впервые подумала, прочитав «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева: «Какая это жуткая вещь - чувствовать неизбежность, близость смерти! Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать конца и даже не думать о нем, то казалось, что я буду кого-то умолять, бесцельно метаться».

В Кашине покончил с собой один педагог. Ина была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы: «Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился В. В. Жигарев, учитель из техникума... Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко сознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую!»

«Луна... - Снег... И тишина, тишина. Как в сказке. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес. И наступит сказка... Как мелко все то, о нем мы плачем, чему радуемся! Как бедна и прозаична наша жизнь! Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно, стоящее того, чтобы перед ним преклониться,- смерть, шаг в неизвестное и несуществующее».

Май 1941 года был в жизни Ины счастливым: «Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И... и я, что вызывается, по уши!... Ну можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты?...» «Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность...» «Мы все время сидели рядом с Мишей. Провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам горько». Опять целовались...» «Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди... А впереди кизнь!» Миша читал Ине стихи Фофанова:

Всё тает, надежды и годы...

И память о милом когда-то,

Как лёд пробужденной природы.

Растает... уйдет без возврата.

Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных?

Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня... Боже мой!...»

Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет... На фронт - это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!»

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?»

Вернувшись из эвакуации в Кашин, Ина узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла (а может быть, убедила себя), что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в райвоенкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сандружинниц и «неплохо стреляет», Ответа долго не было. Ина ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя: «Когда же кончится эта проклятая война?», старалась развлечься: «Иногда танцуем под патефон. Мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях. А на

самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов... И так скучны наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться. Да и скоро они кончатся...»

Развлечения действительно скоро кончились: в июне 1942 года Ину послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калинина: «Я знаю - это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше. Я все равно не выдержала бы маминых слез...»

Сражалась она хороню, об этом рассказывают уцелевшие товарищи; ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в «заданиях» - взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить о ее боевой жизни: героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма. Многие предрешила взыскательность к себе, прямота, честность.

Однажды Ину послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитлеровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Ина молчала. За полгода до начала войны ей вырывали зуб: «Я так плакала, и сама не знаю, когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума». А когда фашист ее пытал, она молчала: «Я думала только об одном - как бы не показать свою слабость».

Она писала матери нежные, простые письма: «Иногда ночью вдруг проснусь от того, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь - и нет никого, и все пусто». «Мне теперь все время вспоминается лютый мороз, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь». «Вы все-таки считаете меня чуть ли не героем. Напрасно. Я всего только советский человек».

Отец Ины, Александр Павлович, был направлен во вражеский тыл. Он встретил Ину и рассказывал мне, что, когда он назвал ее девочкой, она запротестовала: «Папа, я уже не девочка, я разведчица Второй Калининской партизанской бригады». Однако, узнав, что у отца в вещевом мешке сласти, Ина попросила: «Дай сладенького...»

Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала: «Безумно влюбилась в одного товарища, и он любил. А потом он погиб. Думала, с ума сойду. Ты ведь знаешь мой характер...»

Портрет Ины был бы не полным, если бы я опустил одну запись и ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата: это казалось ей легким. Она записала в дневник, как расстреливали предателя-старосту: «Держался он твердо. Ни слова не сказал. Только концы пальцев чуть дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в него Зойка. И рука не дрогнула. Молодец! А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно».

В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их: «Немцы!» Ина поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам: «Уходите!» - и, встав на колени, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу, под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и двадцати лет.

Я написал об Ине вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали - чуть припаянный: не хотели, чтобы героиня говорила об изнанке жизни, а это яснее показывает ее верность, душевное мужество. В этом, как и во многом другом, она была - повторю ее слова - «советским человеком»: она многим до войны возмущалась, а в трудный час пошла защищать советскую землю.

Я дал дневник Ины З. Ю. Триоле, она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах.

В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком, мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича, и, конечно, мы снова говорили об Ине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы, не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материка, острова, скоро, наверно, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ об Ине Константиновой в

книгу, посвященную моей жизни: Ина помогла мне многое еще раз проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим.

Мне кажется, что короткая жизнь Ины помогает понять, почему советские люди выдержали испытание и победили. Это исповедь поколения, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это ни звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Ины, я говорю и о себе.

В 1944 году один из военных корреспондентов «Красной звезды» писал обо мне: «На забрызганном грязью «виллисе» ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто, в меховой штатской шапке, с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек».

Когда в конце января я сказал генералу Таленскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся: «Только придется вам надеть форму, а то, чего доброго, вас примут за фрица». Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать «господином комиссаром».

Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома; рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчибадзе; он усмехался: «Это не Ржев...» Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался: мало снарядов. (Немцы продержались в том «котле» еще два месяца.) В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои, хотя накануне сводка сообщала о взятии города. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся. Мины были заложены повсюду - в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон: «Слушай, прибавь огонька - он, черт, огрызается...» А солдат рассказывал о товарище: «Говорил: «Фрицы выдохлись», - а дня не прошло - я его притащил в санбат, посмотрели и говорят: «Поздно»...»

Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась - пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацвели подснежники, лиловые крокусы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной.

От мысли, что мы продвигаемся в глубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей, гладкой дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось: неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями - тацинцами. Мы долго, улыбаясь, бессмысленно повторяли: «Вот, значит, где...»

Почти у каждого было свое горе: погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью замучили в Гомеле -ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог ты мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи!... Но на дорогах жалобно скрипели телеги, метались без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших, все помнил, но одно дело фашизм, рейх, Германия, другие - старик в нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком простыни.

В Раценбурге красноармеец яростно колот штыком девушку из папье-маше, стоявшую в витрине разгромленного магазина. Кукла кокетливо улыбалась, а он колот, колот. Я сказал: «Брось! Немцы смотрят...» Он ответил: «Гады! Жену замучили...» - он был белорусом.

В том же Раценбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью, а он делал все, чтобы оградить население немецкого города. Он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография: дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Майор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку - родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее, может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверно, повторял про себя слова о «священной мести», а в Раценбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет.

Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну - не на полотне баталиста,

не на экране, а под носом: расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недоенные коровы, а чей-то долгий пронзительный визг застревает надолго в ушах.

Некоторые города были разбиты артиллерией; в Крейцбурге уцелела только тюрьма; среди развалин Велау я не нашел ни одного немца: все убежали. Другие города уцелели; в Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось шестьдесят тысяч человек - треть населения осталась.

Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих; зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали «хайль Гитлер». Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная поблажка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники и адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютom, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что «порядок в доме - порядок в государстве» или что «трудись - и увидишь сладкие сны». В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «соль», «перец», «тмин». «кофе». На полке красовались книги: Библия, стихи Уланда, иногда том Гёте, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий - «Майн кампф», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Пруссия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Тапиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта: «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей, и стало не по себе: кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофеи - погоны русского офицера, фотография разрушенной Варшавы, портреты местных благотворительниц.

Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся: «В такой берлоге можно жить». Другой выругался: «Сволочи, жили хорошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши», - он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне.

Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Г. И. Анисимова, когда прибежал лейтенант: «Разрешите доложить?» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены тридцать - сорок человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцарцы, и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось - к генералу привели человека в костюме, перепачканном углем, давно не бритого, который представился: «Карл Бренденберг, вице-консул Швейцарии». Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много Швейцарией, они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывести всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранная грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил: «В Берне предвидели события.- И, чуть усмехнувшись, добавил: - В Берне, но не в Эльбинге...»

Генеральный викарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру (о том же говорили и два пастора). Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жителей врасплох: они верили не только Гитлеру, но и его помощникам, а гаулейтер Эрих Кох еще в начале января писал: «Русские никогда не прорвутся в глубь Восточной Пруссии - за четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров». Цифра успокаивала. В Либштадте я нашел незаконченное «свидетельство об арийском происхождении» - 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов: 26 января в Либштадт вошли советские танки.

В 1944 году я часто спрашивал себя: что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию? Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а миллионы своих соотечественников, что они - избранная нация, что плутократы и коммунисты, объединившись, лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными,

дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью вульгарного ницшеанства и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе: «Растенбург всегда будет немецким!» «Эльбинг не сдастся!», «Граждане Тапиау помнят о Гинденбурге. Смерть русским!» Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции «вервольфов»; я спросил капитана, занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое «вервольф»; он ответил: «Фамилия генерала; кажется, он сражался в Ливии...» Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал: «В древних германских сагах вервольф обладает сверхъестественной силой, он облачен в волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку, какой-то мальчик написал: «Клянусь быть вервольфом и убивать русских!» Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрявшие жители призывного возраста вели себя как пай-дети. Гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке: «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он мне служил консервным ножом. А про заколотых красноармейцев я не слыхал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, зловещей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но, в отличие от мифических вервольфов, они предпочитали временно нарядиться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта.

Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми: с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора Марбургского университета, у стариков, у школьников - хотел понять, как они относятся к идее «народа господ», к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду

я слышал то же самое: «Мы ни при чем...» Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсовцы; другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов; третий клялся, что был связан со своим шурином, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга, в селе Хоэнвальд, один немец поднял кулак, приветствуя «господина комиссара»: «Рот фронт!» В его доме нашли альбом любительских фотографий: вешают русских, возле виселицы доска с крупной надписью: «Я хотел зажечь лесопилку, подсобник партизанов»; еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого «ротфронтиста» примолкнуть, он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов: «Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверно, приходил к моему брату, мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии - в России я не был. Можете мне поверить: в душе я коммунист...»

Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других - все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немей, который возвращался с запада в Прейсиш-Эйлау, он сказал: «Герр Шталин хат гезигт, их гее нах хаузе» («Господин Сталин победил, я иду домой»).

Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об Освенциме, о «факельщиках», о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев; потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускиники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо.

Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу, все (на некоторое время) схоронилось, залезло в щели - упрощенное ницшеанство и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла: откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу -

принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед: «Они идут замечательно сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени...»

Комендантом города назначили строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление - правила. Один наш комендант, смеясь, говорил: «Я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней - что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить: один спрашивает, может ли забраться на крышу и залатать дыру, другой - куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа...»

В Эльбинге я увидел необычайную очередь: тысячи немцев и немок, старухи, маленькие дети жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному, на вид самому миролюбивому: «Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверное, знаете, в каких кварталах еще стреляют...» Он вначале сетовал - потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место: русские, наверно, поставят охрану и можно будет спокойно переждать; он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвая. Я его не спрашивал о Гитлере - знал, что он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный. Мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы он взял себе пальто. Он испугался: «Что вы, господин комиссар! Это ведь трофеи русских...» Я предложил ему выдать письменное удостоверение; подумав, он спросил: «А у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит».

По Растенбургу меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка, все на него кричали. Теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали: «Добрый день, господин Вася!»

Позднее, в западногерманской печати много писали о «русских зверствах», стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего

учиненного оккупантами в пашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить - мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты, хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа - в любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы; но наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость гражданского населения, а растерянностью: мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заметались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе, близкому концу войны. А глядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло - развалины городов, метель из пуха на дорогах или униженность, покорность жителей. В те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирную госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу - Настю из Орла.

Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал злорадства, во мне смешивались брезгливость с жалостью, и это порой отравляло то большое счастье, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми с советскими девушками, с гражданами и солдатами поработанных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи: один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин нашел свою сестру с двумя детьми - одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла те рвы, которыми хвастал Эрих Кох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала: «Вася!... Васенька!...» А старший мальчик восхищенно разглядывал две медали на груди дяди Васи.

Кого только не привелось мне встретить! Среди освобожденных были люди разных стран, разных профессий: французы-военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, несколько американцев, студент из Афин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость.

Французы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток - им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо стряпать, и, зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан.

В плену все научились немного говорить по-немецки, бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции: люди понимали друг друга.

В Эльбинге, в бараках, где содержались военнопленные, я видел правила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки - сто пять душ. Железнодорожник Чуловский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустном Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу - русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, у нее работали только одна украинка и один итальянец; за них она вносила шестьдесят марок в «арбейтсамт». Теперь это известно всем, я тогда это меня потрясло: воскресили рабство античного мира, но вместо Еврипида - Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополи - Освенцим.

Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия тифа. Гитлеровский врач говорил: «Лечить их нечего, все равно умрут...» Каждый день зарывали умерших. «Я видел,- говорил француз,- как вместо с трупами зарывали еще живых, вспомнить не могу без ужаса...»

В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку - это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые и поэтому убедительные записи: «26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш! Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе: дура, ведь наша берет, и плачу, плачу. Вспомнила Петю. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня? Все равно, лишь бы жил! Я знаю, что мне не дожить до свободы, но теперь я наверно знаю, что наши победят... 11 ноября.

Мой день рождения. Вспомнила, как приходили Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего И. Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки!...»

Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с нею приключилось потом, но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении, под Ржевом, у Сталинграда.

В Гутштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизией уговаривал меня, чтобы я задержался, пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря я увидел развалины: по монастырю била артиллерия. На земле валялась груда книг - маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах, я видел такие в других городах: молитвенники, псалтыри, Библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как, сам не знаю почему, наклонился и поднял маленькую книжицу Я обомлел - первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году! Второй том, третий, четвертый- Стихи одного из друзей Ронсара - Реми Белло. Томик произведений Лукиана во французском переводе. (Лукиана я потом подарил Я. З. Сурицу, а Ронсара и Белло берегу.) На первой странице отметка: такой-то купил там-то, заплатил столько-то. В XVI веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом всеми Гутштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку - немцы не разобрали, что это за книги; в них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились.

В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел - раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в «Падение Парижа» - их читает Жаннет Дессеру:

Признает даже смерть твои владенья.
Любви не выдержит земля,
Увидим вместе мы корабль забвенья
И Елисейские поля...

Все было несовместимо: развалины, танки, санбат и Ронсар, любовь, Елисейские поля - не парижские, другие, те, о которых писал Пушкин: «А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах...»

Две недели спустя, возвращаясь в Москву, в Вильнюсе я рассказывал Ю. И. Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу: «Теперь скоро конец!...»

Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога - сожженные села, Борисов. Кожевенный завод, где гитлеровцы убивали... Снег еще милосердно прикрывал сожженную, изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости.

Я вдруг удивился: вот и победа, почему же к радости примешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, близость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Рои сэра. В 1940 году в Париже я писал:

Не раз в те грозные, больные годы.

Под шум войны, среди нищенства природы,

Я перечитывал стихи Ронсара.

Короткое стихотворение кончалось словами:

Как это просто всё! Как недоступно!

Любимая, дышать и то преступно...

В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны,- потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое - радость, подснежники, искусство?... Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге - думал о жизни.

Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад: «Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о событиях, которые не стали достоянием истории»; многое из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о последних неделях войны.

Вокруг Кенигсберга, на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве громыхали салюты; они были трех классов - первый из трехсот двадцати четырех орудий двадцать четыре залпа, а третий из ста двадцати четырех двенадцать залпов. Москвичи к ним привыкли - бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжалось ракетами. «За что салют?» - спрашивала в фойе, театра девушка подругу, та отвечала: «Маленький - за некой-то венгерский город...» Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали Победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в предшествующие годы. Наступали те последние четверть часа, которые кажутся вечностью.

В марте генерал Таленский покинул «Красную звезду». С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для «Красной звезды», для «Правды», для еженедельника «Война и рабочий класс».

Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии, от леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в «Красной звезде» с моим ответом, писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира и поэтому не можем предоставить господа богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что, когда слепые политики отдали Чехословакию в руки

фашистских палачей, их именовали «ангелами мира», на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами.

Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением леди Гибб. (Кажется, еще больше, писем получила леди - мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем.) Между тем леди Гибб случайно оказалась в центре внимания: дело было, конечно, не в ней; начиналась борьба между людьми, решившими уничтожить фашизм, и вчерашними «мюнхенцами», сторонниками «мягкого мира». Не сердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разоружить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это ни звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Эльзасе и в Арденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германии, «способной преградить путь коммунизму», хотя бы часть ее военной силы.

Брэйлсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехословаков обеспечить равноправие судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы ТАССа выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу: военнопленные немцы готовились к карьере полицейских в оккупированной Германии: по словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией.

Начиная с февраля 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь да рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дейли телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика: «Такие меры разваливают

сельское хозяйство Германии». В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители треста «ИГ». Видный американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал «атлантическую общность».

Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик - литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен, знал, какими жертвами оплачена победа над гитлеровской Германией.

Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельные случаи насилия в городах Восточной Пруссии, возмутившие нас всех, и привел в «Красной звезде» письмо, полученное мною от офицера Б. А. Курилко: «...Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величия советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унижат себя...» Я писал дальше: «Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей, мы не стыдимся этого, мы этим гордимся... Советский воин не тронет немецкой женщины... Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами...»

«Холодная война» еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года «Нью-Йорк геральд трибюн» писала: «То, как Эренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов пятидесяти конгрессменов, двадцати комментаторов и дюжины политических экспертов... Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика; это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и теперь получают то, что они затеяли. Только то, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации. Эренбург знает, о чем говорит...

Красная Армия знает, что она делает... Многие из наших конгрессменов, дипломатов, публицистов этого еще не знают. Мы не привыкли к войне, но мы участвуем в величайшей в истории войне, и рано или поздно мы это поймем. В Америке должны больше читать Эренбурга...»

Одиннадцатого апреля «Красная звезда» напечатала мою статью «Хватит!», мало чем отличавшуюся от предшествующих. Рассказывая, что Маннгейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся советской оккупации, чем англо-американской. «Хватит!» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма.

Двенадцатого апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн.

Тринадцатого апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Г. Ф. Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв «Правду», я увидел большой заголовок «Товарищ Эренбург упрощает», статья была подписана Г. Александровым. (Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не рассказал мне об этом потому, что испытывал некоторую неловкость; может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи.)

Г. Ф. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец, что я объясняю переброску немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как это провокация, маневр Гитлера, попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции.

Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать

об эпизоде, который причинил мне много трудных часов.

Я еще раз оказался наивным, а мне было пятьдесят четыре года: я не могу сослаться на молодость, неопытность; видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александрова: нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность, нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем и с другим - хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое: почему мне приписали не мои мысли, почему нужно было осудить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббельс меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом в шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой.

«Красная звезда», разумеется, перепечатала статью Александрова. Редактор со мною разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статей Эренбурга; об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ПК, тому же Г. Ф. Александрову, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась; «...Иной читатель, прочитав Вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как Вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительна расовая теория...» Ответа я не получил.

Только 10 мая - на следующий день после Победы - «Правда» поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться, и для людей, обладающих памятью, вставил без кавычек цитаты из моих статей - о том, что нам чуждо чувство мести

и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма.

К сожалению, статья Г. Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту всполошились: уж не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились - понимали, что реки крови не бутылка чернил и что одна статья не изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрюка или Бухенвальда, что фашистским главарям не приходилось рассчитывать на пощаду, но промышленники Рура, генералы рейхсвера, крупные чиновники третьего рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, понимали, где они найдут влиятельных защитников.

Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Г. Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку (не скрою: я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях).

Фронтовики присылали мне в утешение подарки: об одном расскажу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год VII республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с барельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей!» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне ни нравилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка.

Пришел Суриц, сказал: «Зря огорчаетесь. Это не против вас, просто в его нравах. Узнаю почерк...» В общем, он оказался прав. Несколько недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о

статье Г. Александрова вспоминают только реваншисты из «Зольдатенцейтунг».

А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают,- требовалось крылышко, иод которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет божий, снова заговорить о «красной опасности», о «защите Запада», об «исторической миссии Германии». На моем столе свежие газеты - сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судетских немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать. Тяжело и вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать. Но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом - братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день; впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет.

В конце апреля сводка Совинформбюро сообщила, что в западном предместье Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуар Эррио. Два дня спустя мне позвонили: «Эррио спрашивает, в Москве ли вы, он хотел бы вас повидать».

Эррио обнял меня: «Малыш, это было нелегко!...» Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на «ты».

Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко - в посольстве у В. С. Довгалецкого, в палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии, раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал; я чувствовал, что он ко мне расположен, но смешно было говорить о дружбе: между нами были два десятка лет, позволившие ему называть меня «малышом», да и жили мы в различных мирах - для премьер-министра, председателя парламента, мэра Лиона литература была отдыхом, а для меня политика являлась, скорее, военной службой, чем страстью или профессией.

У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти: большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки - все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эррио с огромнейшим животом. Родился он в Шампани, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом: «Как вы думаете, нам дадут перекусить?...»

Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы: «Вошел ваш офицер, солдаты. Я закричал: «Франсуз! Эдуар Эррио!» И можете себе представить, он знал мое имя, пожал руку, смеялся, повторял «Эррио» на русский лад...» (Эррио постарался произнести

свою фамилию с ударением на первом слоге.) Он говорил, что видел панику, понимал: не сегодня завтра наступит развязка - убьют или освободят. «Но хорошо, что меня освободили ваши - ведь вся моя политическая биография связана с идеей франко-советской дружбы, вы-то это знаете... А я начинаю думать о биографии - нужно, чтобы всё увязалось...»

Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Много из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это воспринимает Эррио. Я увидел, что не ошибался, считая его одним из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть - со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали.

Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале ВОКСа военную кинохронику. Он восхищенно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил: «Шесть тонн женских волос», - и вдруг увидел, что Эррио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал: «Я об этом не знал... Мне, видимо, время умереть - и ничего не понимаю... Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг «Дело». Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем, и вся Франция раскололась. Мне было двадцать шесть лет, я кричал до хрипоты. Золя, Жорес, Анатоль Франс... Шли телеграммы - Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен, все протестовали... Одного невинного послали на Чертов остров!... Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. «Шесть тонн женских волос...» Я знаю, что это - нацисты, немцы, но ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен...»

Немцев он не любил, говорил: «Больше всего меня удивляет их коварство. Даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, И в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном - после короткой передышки отыграться, восстановить первенство

«великой Германии». Однако нелюбовь к немцам у Эррио не связывалась с расизмом или шовинизмом: он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовищно - для человека, который часто стоял во главе правительства большой державы в середине XX века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, «сдержать данное слово», «спасти честь». «Нужно платить долги Америке - мы ведь дали слово», «Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещания?», «Мы обманули чехов, это пятно на чести Франции», «Бельгийский король, сын «короля-рыцаря», поступил недостойно: капитулировал, не запросив союзников», «Нельзя сложить оружие - мы связаны договором с Англией».

В трагические дни июля 1940 года Эррио поддерживал проект отъезда правительств в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость: просил, чтобы его Лион объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Эррио все же взывал к его чувству справедливости. Собрали Национальную ассамблею, депутатам было предложено отречься от себя и похоронить республику. На первом заседании председательствовал Эррио, о своей речи он сказал: «Наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение...» Рассказывая мне о том времени, он признавался: «Это было одной из самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит Республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести и он не осмелится поднять руку на свободу...» Эррио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену. Но он не мог принять обвинений, выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир: «Они повиновались долгу, чести...» Профашистские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Эррио мне говорил: «Настоящие каннибалы!...» (То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная чернь во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами.) В начале июня 1941 года Эррио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции: помилуйте, немцы лишают депутатов Эльзаса и Лотарингии права называть себя членами французского парламента! В августе 1942 года, когда Германия

казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Эррио выступил трижды: он протестовал против расстрела немцами заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию; возмущался преследованиями французских евреев; наконец, вернул свой орден Почетного легиона после того, как такие же ордена были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эррио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию.

Если подойти к этим противоречивым поступкам как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эррио был одним из лидеров радикалов - этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян Юга и крупных дельцов, свободолюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя «младорадикалами», и все же удивительно, как столь противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эррио сформировался в прошлом столетии, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому и молодой Советской Республике, что он мог в перерыве между двумя заседаниями Совета министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Лиона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным.

После второй мировой войны правые упрекали Эррио за то, что он являлся с «красными», а левые говорили о его неблагодарности: «Он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты». Эррио ничего не забывал, просто он оставался самим собой - непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Лионе. Среди прочего мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считаю обращение французского правительства с Улановой и другими артистами московского балета позорным: их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступить, ссылаясь на события в Индокитае. Эррио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь

же письмо, адресованное мне: «Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого и, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю Вас, что большинство французов в этом согласны со мною». Он дал мне листок: «Можете напечатать...»

Вскоре после этого болезнь Эррио обострилась - он не мог передвигаться. В августе 1954 года Национальное собрание должно было ратифицировать договор о «Европейском оборонительном сообществе», говоря проще - о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эррио приехал на заседание палаты; он не смог подняться на трибуну и выступал, сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франкосоветском сближении, и обратился к депутатам с предостережением: «Видите ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны».

В 1956 году в Лионе состоялось совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященное опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в кабинете Эррио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем; он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир; что оружие в руках боннского правительства - угроза всей Европе; он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел.

В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики, Отношения между союзниками были, скорее, натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эррио: «Русские справлялись, когда вы предполагаете уехать,- это больше, чем намек...» Видимо, кому-то хотелось рассорить Эррио с его советскими друзьями.

У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек «золотого руна», позвонил Эррио, но мне ответили, что он «неожиданно уехал». Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо: «Ваш табак я получил в Тегеране. По моим

расчетам, его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический День Победы, не удалось завершить должно пребывание в Москве. Но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра».

Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца Четвертой республики. Его пристрастия и отталкивания не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства, мюзик-холлов и строгой диеты; а любил он традиции якобинцев, Лион, Декарта, русских, Бетховена, красноречье, популярность и вино «божоле».

В 1954 году, когда я был у него, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого, спившегося Верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона, сказал он,- а знаете ли вы стихи лионской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабэ?» И он прочитал начало одного из ее сонетов:

Живу и гибну и горю - дотла,

Я замерзаю, не могу иначе -

От счастья я в тоске смертельной плачу.

Легка мне жизнь, легка и тяжела.

Может быть, этими стихами лучше всего закончить рассказ об Эррио. Но чтобы вернуться к нити повествования, напомним: второго мая он говорил мне: «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями за одержанную победу», а девятого мая на заре его посадили в самолет.

Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Браззавиль: ждал развязки.

Войны начинаются почти всегда внезапно, а кончаются медленно: уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут.

В апреле я писал: «В Германии некому капитулировать. Германии нет, есть колоссальная шайка, которая разбегается, когда речь заходит об ответственности». Гитлеровская Германия умирала, как и жила, - бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось ни одного полка, ни одного города, который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главарей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гардины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь - белые тряпки выползали из всех окон. Союзники теперь продвигались быстро: один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцоллернов, школьники, одураченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш. А фашистские главари закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались.

Первого мая немецкое радио сообщило, что Гитлер, погиб, как герой, в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Геббельсом, Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Дениц объявил, что возглавляет новое правительство; однако составить его было трудно - оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали, скорее, о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле.

Вечером 7 мая я слушал Браззавиль: в Реймсе представители Деница и германского командования подписали акт о капитуляции; от Советского Союза документ подписал полковник... Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет

речь,- диктор не мог выговорить русское имя (оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал,- он был военным атташе во Франции). Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию; мне сказали, что нельзя доверять слухам, возможно, это провокация - попытка сепаратного мира, так или иначе военные действия продолжаются.

Восьмого мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон -друзья и знакомые спрашивали: «Вы ничего не слыхали?» - или таинственно предупреждали: «Не выключайте радио...» А московское радио рассказывало о боях за Либаву, об успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско.

Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно почти повсюду окна светились: люди не спали.

Начали выхлывать на лестницу, некоторые не одетые их разбудили соседи. Обнимались. Кто-то громко плакал. В четыре часа утра на улице Горького былолюдно: стояли возле домов или шли вниз - к Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков, и солнце отогревало город.

Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченной ветром. Это был необычайный день и в своей радости, и в печали: трудно его описать - ничего не происходило, и, однако, все было полно значения - любое лицо, любое слово встречного.

Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью, она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мною шла женщина и мальчик, который все время повторял: «Вот это майор. Ура! Старший лейтенант, орден Отечественной второй степени. Ура!...» У женщины было милое изможденное лицо; вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она; наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно.

Девочка сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал: «Вечная память погибшим»; майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал: «Жена просила: «Скажи»,- она простыла, лежит... Гвардии старшина Березовский. Две личные благодарности от товарища Сталина...» Кто-то сказал: «Ну, теперь скоро вернется...» Старик покачал головой: «Погиб смертью героя, восемнадцатого апреля, командир написал... Жена просила: «Ты расскажи...»

Я говорил, что было много печали: все вспоминали погибших. Я думал о Борисе Матвеевиче, и мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло; думал о том, что мы жили рядом, а я с ним мало разговаривал, то есть говорили мы много, но все о другом - не о главном. Я думал о добром Жене Петрове, вспоминал, как он, смеясь, говорил: «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Прокакина-Стукала». Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье; «Вы не пижон, и Можайск не Ницца...» Вспомнил товарищей по «Красной звезде», молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, тацинцев, Черняховского, Юрия Севрука из «Знамени», ездового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома - «полковник» и «подполковник», как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга. Все Ржев да Ржев...

Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский:

...Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

Днем на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться: кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал: «Ну меня за что?...» В ответ кричали «ура». Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул: «Эренбург!» Начали и меня качать. Неприятно, когда тебя

подкидывают вверх, а главное, неловко: я молил «хватит», но это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше.

«Кончилось», - я повторял это Любе, Ирине, Савичам, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей или что она школа мужества, никакие Киплинги и киплингствующие, никакая романтика «мужских бесед у костра» не прикроют ужаса убийства оптом, судьбы выкорчеванных поколений.

Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно: в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал он нас не как 3 июля 1941 года «братьями и сестрами», а «соотечественниками и соотечественницами». Прогремел небывалый салют палила тысяча орудий, дрожали стекла; а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но не удивило. Он - генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали: «Сталину ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять, я привык к тому, что есть люди, их радости, горе, а где-то над ними - Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали; он стоит на трибуне Мавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей, решает их судьбы. Я сам писал о Сталине-победителе. Ведь это он привел нас к победе. Древние иудеи никогда не думали, что бог любит людей: они знали, что, поспорив однажды с сатаной, Иегова убил всех сыновей и всех дочерей праведного Иова, разорил его, наслал на него проказу только для того, чтобы доказать, что Иов останется верным своему хозяину. Они не считали бога добрым, они считали его всемогущим и в благоговении не решались выговорить его имя. Когда-то В. В. Вересаев говорил мне: «В соборе святого Петра есть статуя апостола, туфля стерлась от поцелуев - металл поддался. Можно, конечно, не верить в святость Петра, но туфля производит впечатление - губы оказались сильнее бронзы...» В отличие от обычая иудеев имя Сталина произносилось постоянно - не как имя любимого человека, а как молитва, заклинание, присяга. Вересаев был прав, говоря о туфле. Когда я писал о Сталине, я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о

предсмертных письмах, заканчивающихся словами: «Да здравствует Сталин!» Борис Слуцкий много позднее написал:

Ну, а вас, разумных и ученых?

О, высокоумные мужчины,-
вас водили за нос, как девчонок,
как детей, вас за руку влачили.

Вероятно, это справедливо. Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли - ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смушксвича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими командирами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но скажу откровенно: в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных (вернее, изреченных) Сталиным, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали, как «аминь».

Наверно, все в тот день чувствовали: вот еще один рубеж, может быть, самый важный,- что-то начинается. Я знал, что новая, послевоенная жизнь будет трудной - страна разорена и бедна, на войне погибли молодые, сильные, может быть, лучшие; но я знал также, как вырос наш народ, помнил мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди «космополиты», ленинградское дело, обвинение врачей, свирепый обскурантизм,- словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на XX съезде,- я счел бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был.

Начиная с середины апреля я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о распрях между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивляло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги. В моем блокноте записана передача французского радио - беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли в ставке; отвечая на вопросы журналистов, он сказал: «Гитлер совершил непростительную ошибку, направив удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я

надеюсь, что ваши правительства поступят разумнее, ведь через десять лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. Радиопередачи сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деницем, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было неспокойно.

А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Удастся ли победить зародыши национализма, расизма, которыми гитлеровцы заразили многих. Война показала не только душевную отвагу народа, но и цепкость, жадность, равнодушие; люди закалились, но и огрубели; нужны новые методы воспитания - не окрики, не зубрежка, не кампании, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начала добра, доверие, огонь, исключаящий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное - что теперь будет делать Сталин? По поручению «Красной звезды» Ирина в марте поехала в Одессу - оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными, среди них были убежавшие из плена, боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили, как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря. Я думал о различных указах, продиктованных Сталиным, и минутами спрашивал себя: не повторится ли тридцать седьмой? Но опять меня подводила логика, я говорил себе: в тридцать седьмом был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит. Красная Армия показала свою силу. Народ пережил слишком много... Прошое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику - за обязательный предмет в школе истории.

Я говорю об этом потому, что хочу понять, почему поздно вечером того необычного дня я написал стихотворение с заголовком «Победа». Оно недлинное, и я его приведу целиком:

О них когда-то горевал поэт;
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали -

На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи - и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал - закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и плубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине.

Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанное и вдруг смутился: читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял. Победа! Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу, плохо подготовленный, застигнутый врасплох, он не сдался, стоял насмерть под Москвой, у Волги, повернулся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в «Крисчен сайенс монитор»: «Может быть, последующую эпоху окрестят «русским веком»...»

Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о девятом мая другим: это был день необычайной близости всех, и сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались, - в улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город.

Последний день войны... Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк, да несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми

годами: вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия, крепче их полюбил столько было беды, столько душевной силы, так прощались и так держались.

Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей,- о горе, о мужестве, о любви, о верности.